

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Кафедра русской литературы.

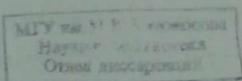
Р. Г. НАЗИРОВ

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 1859-1866 ГОДОВ

Диссертация  
на соискание учёной степени кандидата  
филологических наук.

Научный руководитель -  
доктор филологических наук  
А. Н. СОКОЛОВ.



Москва.

1966 год.

54  
14

## Г Л А В А П.

ВТОРОЙ ИДЕЙНЫЙ КРИЗИС ДОСТОЕВСКОГО

## 1.

Годы 1861-1862 в жизни Ф.М.Достоевского были годами большого литературного и общественного успеха. Сорокалетний писатель вновь завоевал признание и славу. Он стоял во главе одного из самых известных журналов того времени, его окружали друзья, и на литературных вечерах его чтение сопровождалось овациями публики. Несчастливый в супружестве, он стремится жить полной жизнью, словно хочет убежать от неумолимо наступающего призрака старости.

К 1860 г. относится его увлечение актрисой Александрой Ивановной Шуберт. В письме к ней от 3 мая 1860 года мы читаем такие слова: «Самолюбие — хорошая вещь; но, по-моему, его нужно иметь только для главных целей, для того что сам поставил себе целью и назначением всей жизни. А прочее все задор. Только бы легко жилось, это главное; да была бы симпатия к людям, да еще чтоб удалось и от других заслужить симпатию. Даже и без особенных целей — одно это уже достаточная цель в жизни». 1)

В альбоме Фанни Загуляевой тон его становится более задумчивым: «Не старейтесь никогда сердцем и не теряйте (что б ни случилось в жизни) ясного взгляда на жизнь. Да здравствует вечная молодость! Верьте, что она настолько же зависит от власти времени и жизни, насколько и от нашей». 2)  
Эти прек-

1) Письма, т.1, стр. 293.

2) Там же, стр. 300.

расные слова написаны 23 октября 1860 г., в гостях у журналиста (бывшего морского офицера) М.А.Загуляева. Достоевский чувствует себя молодым.

Это же чувство звучит в письме к Полонскому от 31 июля 1861 года, где выражается зависть к поэту, путешествующему по Европе: «Неужели ж теперь не удастся поехать по Европе, когда еще осталось и сил и жару и поэзии? Неужели придется ждать лет через десять согреть старые кости от ревматизма...»<sup>1)</sup>

Полный сил и энергии, молодой сердцем, влюбленный в жизнь — таким он предстает во многих своих письмах этого времени. Настроения его в основном устойчивы, но с какого-то момента в них замечается поворот к худшему. Определить этот пункт весьма трудно. Большой интерес в этом отношении представляет письмо к Александре Карловне Каломейцевой, свояченице его давнего приятеля писателя Порецкого, написанное 16 августа 1861 года. В период создания «Униженных и оскорбленных» Достоевский запоздал ответить на некоторые письма, и в письме к А.К.Каломейцевой мы находим следующие оправдания:

«Разумеется, время всегда было — и при самых срочных занятиях; но я человек больной, нервный. Когда пишу что-нибудь, то даже думаю об этом и когда обедаю, и когда сплю, и когда с кем-нибудь разговариваю». Здесь содержится свидетельство о страстной увлеченности Достоевского работой, о большом творческом напряжении — и в то же время признание о своей болезни. Это сочетание не случайно: напряженная умст-

<sup>1)</sup> Письма, т. 1, стр. 302.

венная работа способствует обострению эпилепсии.

Для характеристики Достоевского интересен комплимент, который он делает своей корреспондентке: «Мне, знаете ли, что понравилось? Что в письме вашем проглядывает какая-то досада, колчъ, когда вы упоминаете о катинском обществе. Стало быть, вы не можете смотреть равнодушной наблюдательницей на ненормальное и уродливое».

Из письма явствует, что писатель весь поглощен литературной жизнью столицы. «Петербург страшно тосклив и скучен, но все-таки в нем теперь все, что живет у нас сознательно». «В Петербурге самое интересное во всех отношениях время — осень, особенно если не очень неясна. Осенью закипает новая жизнь на весь год, начинаются новые предприятия, приезжают новые люди, являются новые литературные произведения». Он советует Каломейцевой приехать на зиму в Петербург. В том же письме — глухое упоминание о плохом настроении Достоевского во время совместной поездки с Пороцкими из Петербурга в Москву по железной дороге (июнь 1861 года): «Вы спрашиваете: прошла ли моя тоска. Ей-богу, нет, и если б не работа, то я бы заболел от уныния». <sup>1)</sup> Однако в тоне письма нет уныния: скорее в нем чувствуется нервная торопливость, озабоченность, и шуточный тон письма скрывается напряженным.

Противоречивый облик писателя возникает перед нами в поверхностных и слабых по форме мемуарах Петра Быкова, которые не вошли в двухтомник «Достоевский в воспоминаниях современников» (1964 г.). Изображение Достоевского в мему-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 304-305.

врах Бькова довольно шлононо, но содержит лобопытные де-  
тали. В 1861 г. молодой Петр Бьков пришел в редакцию "Зре-  
мени" с переводным рассказом:

"И, наконец, я увидел его. Немного выше среднего рос-  
та, он смстрел старше своих сорока лет, шел стгорбившись и  
всегда вперевалку... Глаза его быстро перебежали от одного  
лица к другому. Толстая, мрачная складка легла у него между  
бровей, густых, взьерошенных; губы как-то нервно подергива-  
лись. Бегающие глаза его остановились вдруг на мне. Я с боль-  
шим трудом мог выносить его испытующий, можно сказать прони-  
ывающий насквозь взгляд, от которого становилось неловко,  
даже как будто жутко.

- Это что? - спросил меня отрывисто Достоевский. -  
Статья? Рассказ?.. Не надо ... Не надо... Довольно... У нас  
все есть...

- Я принес на ваше усмотрение перевод ... (....)

- Находка! Зачем нам? Даром время потеряли, - ответил,  
пожимая плечами, Достоевский и круто ствернулся от меня.

В это время Разин, обещавший прийти мне на подмогу,  
поймал писателя и что-то горячо стал ему доказывать. Достоев-  
ский вернулся ко мне, снова пронзил меня испытующим взгля-  
дом, взял рукопись из моих дрожащих рук, погладил меня по  
голове, к великому моему изумлению и конфузу, и бросил на  
ходу:

- Придите через два дня.

Я занес в малейших подробностях описание и впечатле-  
ние этой первой встречи моей с знаменитым писателем в мой

дневник".<sup>1)</sup>

Этот удивительный рассказ представляется нам правды. Верны детали: острый, пронизывающий взгляд, профессиональная сутулость писателя, нервный тик в лице... Обо всем этом говорят и другие современники Достоевского. Сочетание резкости с сентиментальным жестом, столь смутившим Быкова, совершенно соответствует эпилептическому характеру. Сам жест говорит о влиянии успеха на характер Достоевского, о том, что он как и пятнадцать лет назад, начал «возноситься» над окружающими.

Особенно ценно признание, сделанное Достоевским Быкову и, к сожалению, не датированное мемуаристом: «Я много страдал, страдаю и теперь от падучей, от самых близких ко мне и от неудовлетворенности жизнью...»<sup>2)</sup> С большой вероятностью этот разговор можно отнести к первой половине 1862 года, когда эпилепсия Достоевского в связи с напряженной работой особенно усилилась, о чем рассказано им самим в письме к брату Андрею от 6 июня 1862 года. «Самые близкие» — это, несомненно, Мария Дмитриевна, болезнь которой неотвратимо приближалась к роковому исходу и жизнь с которой начинала становиться чрезвычайно тяжелой.

Таким образом, душевное состояние писателя на протяжении 1860 — 1862 годов заметно изменяется. Радость свободы и жизни в столице, опьянение успехом постепенно уступают место неудовлетворенности, тоске, усталости. Падучая угнетала Достоевского. Но перемены в его душе далеко не объяс-

1) П. В. Быков, «Силуэты далекого прошлого», М.-Л., 1930, стр. 52.

2) Там же, стр. 53.

бьются усилением его эпилепсии или развитием туберкулезного процесса в легких его жены. Видимо, серьезную роль уже начинают играть материальные заботы: он, как всегда, не умеет устроить своих денежных дел. Право отдельного издания «Униженных и оскорбленных» было продано Достоевским летом 1861 года за тысячу рублей, а 16 июня того же года он выдает некоей Помяновской вексель на 600 рублей — насколько мы можем судить, первый вексель по возвращении в Петербург. В январе 1862 г. издатель Бабунов купил «Записки из Мертвого дома» за 3.500 рублей, что упрочило материальное положение Достоевского.

Не могло не вызывать неудовольствия писателя растущее сознание тупика. Бесплодность «срединной» позиции становилась очевидной. Жизнь влияла на него, заставляя выбирать более определенный путь: с одной стороны, методичный нажим Стрехова и будирование Аполлона Григорьева, с другой — первая, но весьма резкая атака Антоновича в декабрьской книжке «Современника» за 1861 год. Кроме того, сомнительный успех «Униженных и оскорбленных» заставлял Достоевского задумываться над своим творчеством. В этом романе писатель пытался подчинить свой талант предвзятой схеме, чтобы устоять на уровне требований исторического момента. Однако социальный критицизм в его прямой, так сказать «наивной» форме оказывался чужд новому направлению его таланта, сковывал развитие его дарования.

Растущая неудовольственность жизнью вела к несогласию, протесту. В одном из писем этого периода мы находим похвалу гордости. Речь идет о вышеупомянутом письме к Андрею Досто-

евскому от 6 июня 1862 г., где говорится о Голенинском, муже Александры Михайловны, инспекторе классов в Павловском кадетском училище: «Голенинский вышел в отставку из благородной гордости, не могши снести несправедливостей начальника, сильного человека, желавшего определить на его место своего родственника. Сама первая оправдывает мужа, да и мы все». <sup>1)</sup>

Протест, нашедший выражение в прославлении буита Нелли, исходит из самых сокровенных глубин души Достоевского. В конце II части «Униженных и оскорбленных» говорится о «крошечном аде бессмысленной и ненормальной жизни»; в цитированном выше письме к А.К.Каломейцевой Достоевский хвалит ее за то, что она не может равнодушно наблюдать «ненормальное и уродливое», хвалит ее за «досаду и желчь». В сопоставлении с этим похвала гордости, которую он возносит в письме к брату Андрею, становится знаменательной для оценки авторской позиции в «Униженных и оскорбленных». В своей личной жизни писатель весьма далек от финального смирения Ижменева.

Первая половина 1862 года в жизни Достоевского, как и в жизни Петербурга, ознаменовалась рядом событий перво-степенного значения, на которых необходимо остановиться подробнее.

Прежде всего — это участие Достоевского в двух литературных вечерах. Февральский вечер в пользу воскресных школ прошел обычно. Зато вечер у Руадзе 2 марта 1862 года вошел в историю. Хотя по всей стране волна крестьянских восстаний уже шла на спад, многие показания позволяют думать, что для Петербурга литературно-музыкальный вечер 2 марта

<sup>1)</sup> Там же, стр. 308.

1862 г. явился кульминационной точкой революционной ситуации, как об этом, например, говорит Страхов в своих «Воспоминаниях».

Он был организован Николаем Тибленом и Александром Серно-Соловьевичем. Бывший севастопольский офицер Тиблен владел типографией, издавал (и отчасти переводил) сочинения Спенсера, и его подозревали в сношениях с Герценом. По своим издательским делам он был коротко знаком с братьями Достоевскими. Шелгунов в своих воспоминаниях называет Тиблена «подставным распорядителем». Душой дела, вне всякого сомнения, был Александр Серно-Соловьевич, один из создателей тайного общества «Земля и воля», которое образовалось в 1861 году. В афишах было напечатано, что вечер устраивается Литературным фондом в пользу учащихся; из чистой прибыли 2.000 рублей были переданы Александру Пышину якобы для раздачи между нуждающимися студентами, а на деле эти деньги перешли в руки Чернышевского для передачи первым жертвам начавшейся реакции — поэту М. Л. Михайлову и офицеру В. А. Сбручеву.

В программе вечера блистали имена Антона Рубинштейна, Павла Лагуна, замечательного польского скрипача Венявского. Литературная часть программы была не менее блистательна: Бакрастов, Чернышевский, Василий Курочкин, Федор Достоевский и историк Павлов. Вечер и был задуман, и выглядел как своеобразная манифестация прогрессивной и прямо революционной интеллигенции столицы. Сам факт участия Достоевского в этой манифестации имеет огромное значение, которое нередко в

нашей литературе игнорируется или недооценивается.

Для проведения вечера выбрали огромный зал Руадае, самый модный в то время. Сюда 2 марта собралось более тысячи человек: студенты, литераторы, ученые, моряки, военные, люди из высшего общества и из «средних классов»; по некоторым свидетельствам, особенно бросалась в глаза довольно большая группа офицеров генерального штаба — коллег недавно арестованного Обручева. Возможно, довольно большое число великосветских дам и господ явилось причиной неполного успеха Чернышевского, выступившего с воспоминаниями о покойном Добролюбе: многих шокировало то, что знаменитый публицист «Современника» непринужденно держался у кафедры, импровизировал без всякого писаного текста и «даже» играл цепочкой карманных часов. К тому же, вопреки обыкновению литературных вечеров, он был одет не во фрак, а в пиджак и (вопиющее нарушение приличий!) цветной галстук. Петербургские снобы не могли этого перенести. Но в то же время редактор «Искры» Курочкин, читавший свои новые переводы из Беранже, имел на вечере огромный успех. Особенный восторг вызвало знаменитое стихотворение «Господин Искаритов»; оно сопровождалось криками и неистовыми рукоплесканиями. Но главным героем вечера неожиданно стал Платон Васильевич Павлов, профессор русской истории, известный либерал.

Его речь была посвящена тысячелетию России, которое отмечалось в 1862 году. Собственно, Павлов читал журнальную статью, дозволенную цензурой, но при чтении он акцентировал острые моменты, порой жестом руки подчеркивал главную мысль и (по донесению агента III отделения) читал «особенным, востор-

тебным, пророческим, госмогласным голосом". На долю его впа-  
ла неслыханная овация; электризованная публика, увидевшая  
в его речи открытую революционную декларацию, вновь и вновь  
требовала Павлова. Он вышел из-за кулис, поднял руку, дождал-  
ся тишины и возбужденным тоном произнес... цитату из писания:  
"Умеющий уши слышать, да слышит!" Это было единственное до-  
бавление к процензурованному тексту; через три дня Павлова  
сослали в Ветлугу.<sup>1)</sup>

Достоевский читал на вечере отрывок из "Мертвого дома".  
Публике приняла его очень тепло. Впоследствии в "Бесах" он  
нарисовал карикатурный портрет Павлова и воспроизвел в пародийном  
искажении его речь. Однако нет оснований думать, что  
уже тогда она вызвала у него эту злобную насмешку. Между ве-  
чером у Руадзе и "Бесами" пролегает целая пропасть.

В апреле 1862 г. "Современник" публикует вторую статью  
Антоновича против журнала "Время". В то же время в апрельской  
книжке "Времени" выступает М. Е. Салтыков-Щедрин, как осенью  
1861 г. выступал Некрасов: между двумя журналами тянется  
сравненная полемика, в которой пока участвуют лишь два застрелы  
лика - Стрехов и Антонович.

Май 1862 г. явился месяцем необыкновенных событий. В  
мае в Петербург приехал Тургенев; в русской прессе кипела

<sup>1)</sup> О вечере у Руадзе существует довольно обширная литерату-  
ра: Н. Барсуков, "Жизнь и труды Погодина", СПб, 1888-1910,  
в томе XIX; Н. И. Костомаров, "Автобиография", М., 1922;  
Лемке, "Очерки освободительного движения", СПб, 1890;  
воспоминания Щелгунова, Пантелеева, Страхова, Боборыки-  
на и др. Речь Павлова публиковалась князем Долгоруковым  
в "Правдивом" (1862, № 3), Ботучарским в "Материалах  
по истории революционного движения 1860-х годов" (Париж,  
1905) и Лемке.

полемике вокруг "Отцов и детей". В известной статье "доско-  
дой нашего времени" Антонович поверхностно осудил роман,  
объявив образ Базарова карикатурой на революционера; "Искра"  
отрицала старшему собрату и осыпала Тургенева насмелками;  
Писарев считал, что Базаров — образ правдивый и написанный  
с уважением; "Время" в лице Страхова приближалось к оценке,  
которую давал Базарову сам автор романа. "Отцы и дети" были  
у всех на устах, в них Тургенев достиг своего крупнейшего  
успеха. Он ввел в обиход малоупотребительное слово "нигилизм",  
которым немедленно воспользовалась реакционная пресса.

Посетив редакцию "Времени", Тургенев пригласил братьев  
Достоевских и Страхова к себе на обед, в гостиницу Клея.  
Как обычно, он занимал гостей блестящей беседой. Он картин-  
но описывал, как относятся иностранцы к живущим за границей  
русским, как обманывают и обирают их. В это время Ф.М. Досто-  
евский сам собирался в свою первую заграничную поездку...

В Петербурге было тревожно. Догорала заря "освободи-  
тельной эры", крестьянские бунты показывали всю полноту народ-  
ной "благодарности". Михайлов был уже в Сибири, росло число  
шпионов, правительство готовилось к репрессиям против демок-  
ратов.

16 мая 1862 года, в сухую и ветреную погоду, которая  
стояла весь месяц, в Петербурге начались небывало опустоши-  
тельные пожары, длившиеся с некоторыми перерывами в течение  
двух недель и посеявшие панику среди обывателей. Тотчас воз-  
никли слухи о поджигателях.

18 мая появилась прокламация Зайчневского "Молодая

России" - призыв к социалистической революции. Чернышевский же был причастен к выпуску прокламации, счел ее преждевременной и даже отказался принять присланные ему экземпляры. Федор Михайлович Достоевский нашел на ручке дверного замка своей квартиры один экземпляр прокламации. Кругом уже поднялся подлинный вой: решительные призывы прокламации к переходу немедленно были связаны с общим мнением о поджигателях. Вообще говоря, знаменитые петербургские пожары 1862 года трудно объяснить совпадением случайностей: их частота и изобильность остались несбыслыми. Среди невежественной массы мгновенно распространилось убеждение, что поджигают поляки, студенты и нигилисты. Возможно, что Достоевский входил отчасти под впечатлением этих слухов, когда отправился к Чернышевскому.

Оба писателя оставили совершенно различные свидетельства об этом визите. Достоевский рассказывает, что явился к Чернышевскому по поводу прокламации; вождь демократов называет предметом разговора сами пожары. Как бы то ни было, совпадает одно: Достоевский просил своего собеседника повлиять на крайнее крыло революционного движения, чтобы умерить вызывающий тон экстремистов и предотвратить террористические выступления (к каковому, в прямом значении слова, можно было бы отнести и поджоги). По словам Достоевского, он тогда сказал Чернышевскому, что авторы этой прокламации "всем и всему вредят", т.е. вредят самому делу прогресса. Напомним, что и Чернышевский считал прокламацию Заичневского преждевременной, т.е. вредной для дела революции. С разных точек зрения собеседники относились к прокламации отрицательно.

Рассказы обих писателей совпадают еще в одной романтической детали: нежданный посетитель был очень радушно встречен Чернышевским, оба они проявили симпатию и дружеское расположение друг к другу. Утверждение Чернышевского, что это была его первая встреча с Достоевским и что он узнал его лишь по портретам, свидетельствует о некоторой забывчивости: за два с половиной месяца до этого оба они участвовали в вечере у Руадзе. Видимо, воспоминания Достоевского ("Дневник писателя" за 1873 год, глава "Нечто личное") более точны, во всяком случае в этом пункте.

Между тем, пожары через несколько дней забушевали с новой силой. В страшные дни 22 и 23 мая выгорели Большая и Малая Охта и огромное количество домов в Ямской улице; 23 мая Петербург горел в пяти местах. Тысячи людей остались без крова, убытки были очень велики, тревога и озлобление простого люда достигли, казалось, апогея. Прошло четыре дня передышки, и настало воскресенье 27 мая — по церковному календарю Духов день. В этот день петербургское купечество, как всегда, собралось на традиционное гулянье в Летний сад: это был парад невест и выставка богатства. В разгар гулянья раздался крик: «Апраксин двор горит!» Началась паника.

Торговый Апраксин двор занимал 2.000 квадратных саженей между Фонтанкой и Большой Садовой улицей; он был тесно застроен тысячами деревянных лавок. Дул сильный ветер; и теперь уж горел не мелкий служилый люд, не беднота окраин, на ветер летели купеческие миллионы. Гуляющие бросились вон из Летнего сада; в поднявшейся невообразимой давке людей сбивали с ног, топтали, били; воры, пользуясь суматохой,

срывали с женщин ковровые платки и жемчужные ожерелья, вырывали серьги из ушей купчих. Со всей столицы народ бежал в сторону Невского, скакали пожарные, поднимая облака пыли, и огромная туча дыма висела над самым центром города.

На следующий день 28 мая пожар усилился и распространился. Полностью сгорел Апраксин двор, затем Чукин двор, соседний с Апраксиным; ветер дул так, что переносил горящие головни через Фонтанку. Народ на улицах ловил и избивал «поджигателей»: всем было совершенно точно известны «факты» такого рода, как поимка в том или ином месте передетого поляка, или студента, или хорошо одетого барина с горючей мазью в кармане. В эти три дня 28-30 мая пожар доходил до министерства внутренних дел. Столица империи горела, как горели среди лета русские деревни; с 1812 года европейский мир не видывал такого огненного разгула. «Трудно вообразить себе весь ужас этого дня», — вспоминал впоследствии Л.Ф.Пантелеев.

«Пожары навели ужас, который трудно описать, — говорит Страхов. — Помню, мы вместе с Федором Михайловичем отъезжали для развлеченья куда-то на загородное гулянье. Надали, с парохода, видны были клубы дыма, в трех или четырех местах подымавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане. Но, как мы ни старались позабыться, тяжелое настроение не проходило».<sup>1)</sup>

Небывалое бедствие заняло сразу же всю русскую прессу.

<sup>1)</sup> Н.Страхов. «Воспоминания о Ф.М.Достоевском», 1893, стр. 239. — См. также о пожарах Л.Ф.Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», воспоминания Н.А.Лейкина, Авдотьи Панаевой, И.В.Телгунова и др.

Вопрос о поджигателях стоял одним из первых. 30 мая в "Советской пчеле" появилась передовая статья, которую, как вскоре всем стало известно, написал И.С.Лесков. В статье пожары объяснялись поджогами. "В народе, - писал Лесков, - указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с невероятной быстротой". Он предлагал организовать в помощь полиции добровольные дружины для борьбы с поджигателями. Эта статья, явившаяся причиной общественной гибели Лескова, заставила русскую журналистику четко определить свое отношение к событиям. Реакционные органы печати поддержали обывательскую клевету на нигилистов; передовые журналы стремились опровергнуть ее, но цензура закрывала им рот.

В начале июня цензура запретила подряд две статьи "Времени" о пожарах. Авторство одной из них приписывалось Достоевскому, однако для этого взгляда нет никаких оснований, как убедительно показали редакторы гизовского издания сочинений Достоевского Б.Томашевский и К.Халабаев. Тем не менее, они считают, что статья "Пожары и поджигатели" характерна для позиции журнала "Время" в вопросе о пожарах и прокламациях и соответствует высказываниям Достоевского по подобным вопросам. "Но доказано ли, - вопрошал неизвестный нам автор запрещенной статьи, - что люди, производящие поджоги, - в связи с "Молодой Россией"... доказано ли / и это самое главное - то особенно важное обстоятельство, что настоящее наше молодое поколение и именно студенты солидарны с "Молодой Россией"? Даже если статья не принадлежала перу Достоевского, он как фактический редактор журнала не мог не разде-

ить половину" статьи: таково мнение Томашевского и Халасавца. Значит, Достоевский не верил в то, что в пожарах виноваты студенты или вообще "молодое поколение" - нигилисты. Если он допускал связь между прокламацией и пожарами, то как весьма проблематичную - и тут же отделял авторов прокламаций от всего демократического движения (что, в сущности соответствовало реальному положению вещей). Петербургские поэты не заставили Достоевского перейти в лагерь реакции.

Хотя причина этих пожаров осталась тайной, правительство с такой быстротой и яростью использовало их как повод для репрессий, что некоторыми историками была выдвинута версия (бездоказательная, как и все остальные) о провокационном характере пожаров, которые якобы зажигались правительственными агентами. Доказательств этого нет, как нет доказательств того, что Рим поджег Нерон. Уже 31 мая на Мытной площади состоялась гражданская казнь В.А.Обручева, осужденного еще до пожаров за распространение "Великорусса". Назначая эту церемонию в момент, когда не остыл еще пепел Толкучего рынка, правительство как бы косвенно указывало на революционера как на одного из поджигателей. Когда над головой Обручева ломали шпагу и читали ему приговор с тремя годами каторги и последующим вечным поселением в Сибири, разъяренная толпа требовала смерти "преступника".

В России наступила полоса реакции. В июне были закрыты воскресные школы, женский пансион в Вильно, народные читальни, Захматный клуб и второе отделение Литературного фонда, которое ведало помощью нуждающимся студентам и сыграло важную роль в организации вечера 2 марта. Студент Баллод с

его «карманной типографией» был арестован 18 июня, и среди его бумаг нашли прокламацию Писарева с призывом к революции. Журналы «Современник» и «Русское слово» были приостановлены на восемь месяцев. Такую же меру князь Голицын, председатель следственной комиссии по делу о прокламациях, предлагал прекратить и к журналу «Время». На всеподданнейшем докладе Голицына от 10 июня 1862 г. «О статье литератора Достоевского», где содержалось это предложение, Александр П. изволил собственноручно начертать резолюцию: «согласен». И хотя «Время» тогда не было закрыто, эта история предопределила судьбу журнала и его закрытие в 1863 г. Таково мнение Томашевского, Халабаева, Гроссмана, которое представляется нам бесспорным.

3 июля был арестован Писарев, 7 июля — Н. А. Серно-Соловьевич и Чернышевский\*. Наступила эпоха реакции, массового отбоя из рядов демократического движения и прямого ренегатства. «Шестидесятые годы» как период русского освободительного движения вступили в период упадка; в 1866 году выстрел Каракозова, диктатура Муравьева и окончательное закрытие «Современника» завершили этот тягостный спад.

В момент начавшихся репрессий Достоевского уже не было в России. Он выехал за границу 7 июня 1862 года. Поводом для поездки явилось обострение его болезни, о чем уже говорилось выше (в его записной книжке зарегистрирован, например, сильный припадок под 1-ым апреля 1862 г.). Однако подлинной причиной путешествия было давнее стремление писателя к знакомству с Европой. Поездка, очевидно, стала возможной благодаря контракту с Бзауновым (продажа «Записок из Мертвого дома»).

Первое путешествие в Европу и близкое наблюдение буржуазной цивилизации в пору ее «цветения» сыграли огромную роль в становлении мировоззрения Достоевского. Результатом этого путешествия явились «Зимние заметки о летних впечатлениях».

Итак, Достоевский отправился в свое первое заграничное путешествие. Сбывалась его давняя мечта. Путь через Германию в Париж занял, по-видимому, немного более недели. 26 июня 1862 г. он пишет из Парижа Страхову очень интересное письмо (к сожалению, единственное, оставшееся от этого путешествия). Он уже рвется душой обратно в Россию, где столько еще не сделано и не сказано".<sup>1)</sup>

Достоевский предлагает Страхову, также выезжающему в Западную Европу, встретиться с ним в Женеве. Тут же следует резкая характеристика французов, которая уже заключает в себе зерно знаменитого «Опыта о буржуа»: «Француз тих, честен, вежлив, но фальшив, и деньги у него все. Идеала никакого. Не только убеждений, но даже размышлений не спрашивает». В Париже Достоевский испытывал тяжелое ощущение одиночества. «Чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от несущей, родной канители; от текущих собственных семейных вопросов». И тем не менее, письмо веселое, порой шутовское: «Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (а, Николай Николаевич?). Но ... «ничего, ничего, молчанье!», как говорит в этом же самом случае Поприщин".<sup>2)</sup>

1) Письма, т.1, стр. 310.

2) Там же, стр. 311.

На другой день после написания этого письма Достоевский выехал из Парижа в Лондон, где провел ровно неделю. Столица могучей Британской империи, еще восходившей тогда в своему расцвету, поразила писателя своим суровым и безжалостным величием. Лондон викторианской эры сбирал обильную дань со всего мира и в полном соответствии с гордым британским гимном «правил морями». За несколько лет до приезда Достоевского в Лондон империя подавила восстание сипаев в Индии, в результате опиумных войн все глубже проникала в Китай. В 1862 году в Лондоне происходила Всемирная выставка, гигантская демонстрация достижений буржуазной цивилизации. Достоевский очутился в центре мирового культурного и экономического прогресса. И он вочию увидел, какой ценой достигается этот прогресс. Он увидел поистине страшный контраст между роскошью английских правящих классов и нищетой пролетариата. Он увидел пьянство, проституцию, страдания людей, своими руками создающих все блага этой империи. И тогда он с великой страстью и убежденностью проклял эту цивилизацию и отвернулся от ее роскошных плодов.

Но не только мрачное величие Лондона и огромный дворец выставки в Кенсингтоне повлияли на Достоевского: решающее значение имела его встреча с Герценом, которого он посетил 4(16) июля 1862 года. У него Достоевский познакомился с Михаилом Бакуниним, который бежал год назад из Сибири и через Японию и Америку добрался до Лондона. Герцен в то время был кумиром Достоевского. Влияние Герцена на великого писателя изучено А.С.Долиным в его известной работе «Достоевский и Герцен». Не только притяжение, но (гораздо более

дельное) отталкивание вскрывает исследователь в отношении великого романиста к прославленному русскому революционеру. Однако совершенно ясно, что в момент Лондонской встречи этого отталкивания еще не было, или сам романист не сознавал его. Об этом свидетельствуют известные строки Герцена в письме к Н.П. Стареву от 5(17) июля: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ». Так можно написать только после теплой и дружеской беседы. Герценовская идея о мещанстве как последней форме собственнической цивилизации Запада, высказанная острее всего в книге «С того берега», глубоко зашла в душу Достоевского. В разговоре с Герценом он очень любил эту книгу, как впоследствии сам рассказывал в «Дневнике писателя» за 1873 год. Для творчества Достоевского идеи Герцена имели первостепенное значение. Если молодому Достоевскому присуще гоголевское, гуманистическое отношение к мещанину николаевской России, то теперь он воспринял взгляд Герцена на торжествующее мещанство как на «самодержавную толпу сплоченной посредственности».

Позволительно предположить, что в разговоре о России две крупнейших деятеля русской культуры не обошли молчанием и революционеров-шестидесятников. После знаменитой статьи Герцена «*Very dangerous!!!*» многое изменилось. Но даже косвенное извинение Герцена в «Колоколе», даже встреча с Чернышевским, специально ездившим в Лондон, не изменили сущности расхождений между Герценом и революционерами-демократами: они представляли два различных периода революционного движения, и Чернышевскому лондонский изгнанник недаром

показался "ископаемой костью", т.е. сознательно устаревшим. Со своей стороны, Герцен навсегда сохранил презрительное и враждебное отношение к Некрасову. Для Достоевского, вне всяких сомнений, Герцен был более крупной и авторитетной фигурой, чем его петербургские собратья по журнальному цеху. Возможно, нестороженное отношение Герцена к "Современнику", Некрасову и к шестидесятникам также повлияло на Достоевского.

8(20) июля он возвратился из Лондона в Париж, полный новых мыслей и колоссальных впечатлений. Он пробыл в Париже одиннадцать дней до Лондона и неделю после. Выше уже цитировался отзыв Достоевского о французах в письме к Страхову. Этот отзыв полностью порожден той обстановкой, какую застал русский писатель во Франции.

Вторая империя надела на Францию цепи рабства. Общественное мнение характеризовалось низостью и ограниченностью, буржуа царил во взглядах и вкусах. Виктор Гюго творил в эмиграции, "Цветы зла" Бодлера были запрещены за безнравственность, такой же участи подвергся роман "Мадам Бовари", а в "Салоне отверженных" взбесившиеся мешане тыкали зонтиками в картину Эдуара Мане "Завтрак на траве". Угодливый бонапартистский сенат освистал и оскорбил Сент-Бева за его речь в защиту свободы мысли и науки, а Высшая Нормальная школа была закрыта по желанию императрицы Евгении за то, что приветствовала мужество Сент-Бева. Буржуазная республика по-прежнему провалилась, ее лозунги, унаследованные от Великой революции, оказались ложью. Рабочее движение было жестоко подавлено, революционеры сидели в тюрьмах или скрывались, казенная пресса славиле режим, спасший буржуазию от коммунизма.

Франция кичилась шпионами. Засекная деловая и глупость способствовала стабилизации режима. Когда парижские республиканцы 2 декабря 1851 года звали рабочих на баррикады против Луи Бонапарта, те отвечали: «А не вая ли отец или дядя расстреливал и ссылал нас в июне?»<sup>1)</sup> Французское крестьянство, спьявшее своей землей, одурманенное попами и лживой наполеоновской легендой, поддерживало режим Второй империи. Вот какую Францию застал Достоевский — ту самую Францию, которую впоследствии изобразил Эмиль Золя в «Ругон-Маккарах». Немудрено, что великий русский писатель почувствовал живейшее отвращение к этой стране лжи и рабства, к стране лавочников, лакеев и шпионов. К сожалению, это отвращение наложило отпечаток и на его отношение к французской нации вообще, что ярко отразилось в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

15 июля Достоевский выехал в Кельн. Отсюда он поднялся по Рейну до Швейцарии на пароходе. В Женеве 22 июля (4 августа) Достоевский, как было условлено, встретил Страхова, и они вдвоем отправились в Италию. Страхов в своих воспоминаниях со своей обычной самодовольной снисходительностью пишет: «Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать; его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих, все его внимание было устремлено на людей, и — он схватывал только их природу и характеры, да

1) Жюль Валлес, трилогия «Жак Вентра», ГИХЛ, М., 1949, стр. 353.

равне общее впечатление уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную козеную матери осматривать по путеводителю разные знаменитые места..." Но именно на этих строк явствует, что Достоевский был великим "мас-сером путешествовать". Он стремился выкинуть в быт и психологию чуждых народов. Ему претило расейское низкокосклонство, ему стыдно было смотреть на разинувших рот соотечественников с бедкерами, покорно средущих за самоуверенным и тупым немецким гидом.

Несколько недель Страхов и Достоевский провели во Флоренции, в веселых прогулках по городу и вечерних разговорах за стаканом красного вина. В августе 1862 г. Достоевский вернулся в Петербург.

Он не был здесь три месяца, и город уже изменился. Упали панические слухи, смута и плач. Петербург отстраивался после пожаров. Велось следствие по делу Чернышевского, "Современник" еще не выходил, Михайлов и Обручев были в Сибири, Писарев - в крепости. Первое дуновение террора пролетело над столицей, а между тем - Петербург танцевал.

Год тысячелетия России стал также годом канкана. Модный танец парижских публичных балов имел на берегах Невы огромный успех. С весны 1862 г. танцклассы начали расти, как грибы. Сначала канкан заполнил загородные балы у Излера, в Петровском вокзале, на Крестовском острове, в Александровском парке, затем с веселых окраин он продвинулся в центр города. Елиза Цепного моста засверкали огромные красные буквы алюминиевой вывески: "Танцевальный вечер. Начало в 9 часов. Цена 1 рубль". Это был знаменитый Ефремов. Вскоре

с ним в конкуренцию вступили другие содержатели танцклассов. Среди профессиональных канканеров особенно прославился огромный Токин: его поили, на него печатали карикатуры, о нем писали фельетоны. Канканом увлеклись массы людей; с ним соединялся почти легализованный порок. Вот как вспоминает об этом безумии объективный бытописатель: «Наряду с просветительными ревлечениями открываются и многочисленные танцклассы в городе и за городом, с бешеным канканом, с наемными специалистами по части канкана (Токин, Катька Ригольбош), возникают первые кафетантаны. Танцклассы даже покровительствуются полицией в видах сыска. Рассказывали, что даже сами сыщики открывали танцклассы. Сыщики были даже среди дам легкого поведения, наполнявших танцклассы». <sup>1)</sup>

Это канканное безумие было темой всех журналов и сатирических листков, сам Василий Курочкин посвятил ему ряд стихотворений в «Искре», в том числе горько-язвительное «Приглашение к танцам» (1862 г.). Позже в русской прозе появились неоднократно описания этой эпидемии танцев и порока (например, в «Панурговом стаде» Вс. Крестовского, в «Студентах» Гарина-Михайловского и др.). Канканное псеветрие, начавшееся в 1862 году, ярко характеризует направление перемен в русской жизни, начавшихся со спадом революционной ситуации.

Вместе с канканом наступило царство опьянения, порока, игры. По словам Скабичевского, «легкость нравов в эти годы в Петербурге дошла до Геркулесовых столбов. Этому... поспособствовало освобождение крестьян, растворившее помещиц

1) «Н. А. Дейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб, 1907, стр. 136.

гарей и принудившее массу дворянх обоего пола броситься в города снискивать пропитание... Я не запомню, чтобы в Петербурге было такое обилие проституток, как в первые годы по освобождении крестьян. Стоило пойти вечером по Невскому, зайти в любой танцкласс, или биргалле, чтобы встретить доходившую порой до давки толпу погибших, но милых созданий".<sup>1)</sup>

Заметно увеличилось в это время потребление спиртных напитков. Откупная система была уничтожена, и устав о питейном сборе от 4 июля 1861 г. заменил откуп акцизом. Последовало значительное удешевление спиртных напитков, в Петербурге открылась масса портерных, а затем несколько обширных биргалле, где по вечерам собирались тысячи людей. К их услугам были бикс и бильярд, а также азартные игры - лото, домино и рулетка. «Сотни лиц, играя ночи напролет, проигрывались в пух и прах». <sup>2)</sup>

С этим пьяным шумом и музыкой канкана выступила на арену молодая русская буржуазия.

Как должен был чувствовать себя Достоевский в конце 1862 года? Свидетель грандиозных петербургских пожаров, он покинул свою страну накануне первых репрессий правительства и провел лето в Западной Европе. Он увидел бесчеловечность западной цивилизации, он привез из своей поездки решительное «антизападное» настроение, хотя еще недавно пытался стоять над спором западников и славянофилов. Он встал в Петербурге ошеломляющий контраст между молчаливым террором правительства и отчаянным весельем общества. На вчерашних попе-

1) М.А.Скабический, «Литературные воспоминания», М.-Л., 1928, стр. 242.

2) Там же.

всех всадничались тивцевальские залы, и толпа, которая еще вчера приветствовала Павлова и Чернышевского, сегодня покрывала рукоплесканиями ликое па кайкана. Молодежь не знала, что делать, избыток продажных радостей туманил умы, разочарование вело к вину. Люди искали забвения, и на смену горячей вере в общественные идеалы приходил горький скептицизм.

Этот скептицизм влиял и на Достоевского. Личные беседы с Герценом, также переживавшим период своего скептицизма, прошли бесследно. Результатом новых настроений Достоевского явилось и новое отношение к темам прогресса и «маленького человека», выраженное в рассказе «Скверный анекдот» («Время», 1862, ноябрь). Исследователи Достоевского редко уделяют внимание этому странному и, видимо, не удавшемуся произведению. Рассказ был написан сразу по возвращении Достоевского из-за границы. Анализ «Скверного анекдота» дает интересные результаты.

Рассказ начинается ироническим изображением вечеринки трех статских генералов. Ядovitая ирония буквально с первой же строки поражает читателя: «Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с <sup>а)</sup>тккою неудержимой силой и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам». <sup>1)</sup> Подбор возвышенных эпитетов, преувеличенный восторг придают фразе обратный смысл: это язвительная насмешка над недавним «трогательно-наивным порывом» русской интеллигенции, над ее веро-

<sup>1)</sup> М. Ф. Достоевский, Собр. соч., т. IV, М., 1956, стр. 5. Далее указания страниц в тексте.

бликое возрождение России. Но ведь совсем недавно эту веру разделял и сам Достоевский", как это показывает анализ "Униженных и оскорбленных" и статей в журнале "Время". Таким образом, тон "Скверного анекдота" воспринимается как иронический не только по отношению к изображаемому, но и по отношению к самому автору. Достоевский создает беспощадную сатиру, но при этом он беспощаден и к самому себе. Автор не отделяется от объекта, и в результате возникает та необыкновенная горечь и боль, которая делает небольшой рассказ столь впечатляющим.

Вспомним описание кружка утопистов в романе "Униженные и оскорбленные", имена Левиньки и Бориньки, вызывающие насмешливую ассоциацию с репетиторским Левоним и Боринькой. Там Достоевский тоже иронизировал, но его ирония смягчалась и ретушировалась мягким, примирительным тоном, искренней одушевленностью и даже некоторым сочувствием к этим мечтателям. В "Скверном анекдоте" сделан огромный шаг в развитии писателя: освобождение иронии. Ирония безраздельно царствует здесь, и ей подвластен сам автор.

Описание холостяцкой вечеринки генералов продолжает сатирическую носту, заданную с самого начала рассказа, "жестокость" автора сказывается уже в том, с каким упорством и настойчивостью он продолжает нагнетать полужитительные, хвалобные и даже восторженные определения: " ... три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранный комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме... и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему". (Стр. 5, выделено всаду нами). Далее следует

бесчисленные вариации слов «прекрасный», «превосходный», «комфортный» и т.д.: «Сидели они ... каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское». (Стр. 5). Степан Никифорович «под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт» .. (Стр. 6). «Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком». (Стр.6). Это настойчивое нагнетение преувеличенно хвалебных эпитетов освещает всю картину сытого и спокойного благополучия генералов резким лучом авторского отрицания и насмешки.

Далее следует портрет героя рассказа - действительного статского советника Ивана Ильича Пралинского. Прежде всего отметим, что это - фамилия «со значением»: «Пралинский» образовано от французского *praline*, что означает поджаренный в сахаре миндаль. Эта фамилия как бы сигнализирует, что ее носитель - сладкавый, приторный человек. Последующее описание развивает эту скрытую характеристику: красивый, молодой еще, изнеженный барчук, «генеральский сын и белоручка», богат и преуспевающий человек, Иван Ильич соединяет легкомыслие, избыток воображения, мечтательность и чрезмерное самозабвение с припадками болезненной совестливости и неопределенного раскаянья; человек добрый и даже «поэт в душе». В последние годы разочарование стало чаще посещать его, «но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды».

«Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил до ярости. Он искал случая говорить, ездил

по городу и во многих местах успел прослыть стечением либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся". (Стр. 9). Достоевский издевается над недавним либеральным поветрием, которое на короткий момент захватило даже великих князей и откупщиков. Он разоблачает лживость салонного либерализма, «комфортно» рассуждающего за шампанским о человеколюбии, но не желающего ни поступиться своим комфортом, ни подойти к народу с подлинно человеческой мерой.

Но Ювеналов бич сатиры Достоевский здесь применяет и для самобичевания. Он осмеивает свою собственную недавнюю веру в «слитие образованности с началом народным». Не ли на страницах «Времени» уверял, что «великий переворот» в России совершится легко и мирно? После этого начались бунты, расстрелы и порки, все как при «незабвенном» Николае I. Разочарование Достоевского граничит с яростью, и это прежде всего ярость против собственного «трогательно-наивного порыва», против собственной веры в реформы. Разглагольствованию Пралинского — это автопародия Достоевского.

«— Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно меня любят. Меня любят, стало быть чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть веруют; веруют, стало быть любят... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат все дело дружески, основательно". (Стр. 10).

Хозяин дома, тайный советник, после легкого раздумья, законнично отвечает: «не выдержим». Он не желает пояснить

удивленному Ивану Ильичу свой ответ. Тут и начинается действие рассказа: именно в словце «не выдержит». Увлеченный этим загадочным словом, Иван Ильич стремится опровергнуть сомнения Степана Никифоровича. Он предпримет попытку опровержения при первой возможности. И Достоевский тотчас предоставляет ему такую возможность, вводя «скверный анекдот» о загулявшим кучером.

Не найдя своей кареты, Иван Ильич отправляется домой пешком по тихим ночным улицам Петербургской стороны. Он слышит музыку и танцы в одном старом доме и узнает, что здесь справляет свадьбу самый жалкий чиновник его канцелярии — Пселдонимов. В ступаненном мозгу генерала возникают странные мысли: почему бы ему не почтить своим присутствием свадьбу подчиненного? Это будет подвиг гуманности, который прославит Пселдонимова и опровергнет скептицизм Степана Никифоровича. Маленькие чиновники будут потрясены поступком генерала: он «воскресит в них все благородство». Но от улыбки он откажется, сошлется на дела. «Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница — с. Земля и небо. Я не то чтобы хотел это внушать, но надо же... даже в нравственном смысле необходимо, что уж там ни говори». Таковы пределы генеральной «гуманности».

Иван Ильич твердыми шагами направляется в дом. «Звезда увлекала его», — с издевательским пафосом комментирует автор. И далее начинается постепенное сползание в катастрофу. Первое ее предвестие — физически неприятная деталь, контрастно снижающая мнимого торжественный тон повествования: генерал, «как есть, в калошах», попадает ногой в галантир,

оставленный в семи для остужения. Своим уверенный генерал на мгновение подумывает о бегстве, но затем, поспешнее обернув голову, входит в зал, где гости отплясывают бешеную кадрили, и вызывает, как он и ожидал, полное изумление, граничащее с испугом.

Навстречу ему робко выступает Пселдонимов, глядя на неожиданного гостя совершенно с таким же точно видом, с таким собакам смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтобы дать ей пинка". (Стр. 21). Еще никогда Достоевский не третировал "маленького человека" с таким презрением. Генерал произносит заранее заготовленную фразу: "Здравствуй, Пселдонимов, узнаешь?" - и тут же чувствует, что вместо милой шутки получилась "страшнейшая глупость". И далее все его заранее заготовленные шутки и снисходительно фамильярные фразы падают в бездну ужасающего недоумения Пселдонимова. Генерал растерян.

"- Я уже не помешал ли чему... я уйду! - едва выговорил он, и какая-то жидкая затрепетала у правого края его губ..." (Стр. 21). Иван Ильич становится жалким. Но автор не желает так легко отпустить свою жертву: Пселдонимов опомнился и начал приглашать; "Иван Ильич отдохнул душой и опустился на диван" - кепкан захлопнулся.

Пселдонимов все еще ничего не понимал, гости все еще шипели, генерал чувствовал ужасную тоску. Но тут приближаясь столоначальник из его канцелярии и спас положение. Разыгрывая заготовленный заранее сценарий, генерал рассказывает столоначальнику "скверный анекдот" - исчезновение учера с каретой, объясняющее столь неожиданный визит.

Рассказ генерала списает приличия, но развязный голос его дрочит. «Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву э стал выговаривать как-то на э, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог; действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту». (Стр. 23). Он чувствует неестественность положения, но исправить дело не может: над ним тяготеет «внешняя сила» — инерция лозной воли, неутомимо устремляющейся к абсурду. Достоевский вял одно из тех благих положений, которыми вымощен ад, и доводит его до абсурда. С тончайшим искусством Достоевский рисует духовную пропасть между генералом и коллежским регистратором, полнейшее взаимное непонимание. Никакая добрая воля не в силах преодолеть бездонное различие социальной психологии. Из-за то, что генерал «мучительно сознает» свою неудачу, уже счастливо снижает иронию автора и создает предпосылки для бокового эффекта.

Постепенно присутствующие начинают чувствовать себя свободнее и обращать меньше внимания на Ивана Ильича: «он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках». (Стр. 26). В совершенно реалистическом описании вечеринки Достоевский создает впечатление дикого и постыдного сновидения, в котором рука, ищущая опоры, встречает пустоту, в котором царит страшная, пугающая нескидченность и все происходит вопреки разумной, возможной последовательности обычной жизни, вопреки нормальному.

В этот момент появляется единственное положительное лицо рассказа - мать Пселдонимова, подносящая генералу шампанское"... У ней было такое доброе, румяное, такое открытое, круглое русское лицо, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться". (Стр. 27). Он берет бокал и поздравляет молодых. Пселдонимов смотрит серьезно, даже угромо, и генерал начинает «мучительно его ненавидеть». Он скрепя сердце хитрит в ответ на остроты гостей. Только случайно попавший на свадьбу сотрудник сатирического журнала «Головешка» (чиновник - «Искра») вызывает антипатию генерала своей развязностью. Уязвленный холодным невниманием генерала, он с тайной гордостью в душе покидает зал. «Это ретроград», - выносит он приговор Ивану Ильичу. В задней комнате приготовлен стол с выпивкой. «Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закусил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобрел себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, так пренебреженный им сотрудник «Головешки», особенно после двух рюмок водки». (Стр. 31). Сатирический образ представителя демократической журналистики, введенный Достоевским, является первым симптомом решительного разрыва писателя с демократическим авангардом русского освободительного движения.

Отношение гостей к генералу внезапно меняется: все развеселилось и перестало обращать на него внимание. Причиной тому был пробежавший по толпе шепоток, что гость - «швед шеф». Генерал остается в одиночестве, если не считать раболепного столначальника, подливающего ему вина. Гости

опятились в дьявольскую кадрили. "Горькое сомнение" закрадывается в душу Ивана Ильича, канканное веселье смущает его. Он душевно звал ее, эту развязность, когда они все пятились, а вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ (....). Об медицинском студенте и говорить было нечего: просто Фокин. Как же это? То пятились, а тут вдруг так скоро эманципировались!" (Стр. 35). Когда Иван Ильич хвалит первого канканера, медицинский студент внезапно отвечает ему непристойной выходкой - кукарекает прямо в лицо генералу. Раздается взрыв хохота. В этот момент Ивана Ильича зовут к стоку: он дает себе честное слово немедленно уйти - и остается. Его сажают на почетное место, он наливает себе строгую рюмку водки и выпивает, чувствуя, "что как будто катится с горы".

Еще недавно, входя в дом, "он, так сказать, простирая объятия всему человечеству и всем своим подчиненным"; теперь же, спустя меньше часа, он уже знает, что ненавидит Пселдошимова, его жену и его свадьбу; он видел, что и сам Пселдошимов его ненавидит.

Тон рассказа незаметно изменяется: в голосе автора исчезает иронически-возвышенная интонация, начинается прямое разоблачение. Авторская ирония переходит в сознание героя. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг". (Стр. 37). С этого момента Достоевский переходит к расправе: генерал уже не смешон, а жалок.

Однако он не в силах уйти, <sup>с</sup>ни доиграв своей роли: "Нет, надо так уйти, чтоб они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить..." И как часть его фаль-

низкой роли Достоевский называет важнейшие из волновавших его проблем: „Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России... Я их еще увлеку!" (Стр. 37). Но в мутном „потоке сознания" пьяного генерала усиливается подводное течение: „Какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце". (Стр. 38). Рассказ становится мучительно серьезным. Именно чувство стыда неожиданно придает Ивану Ильичу человечность. Но он в жалком обольщении продолжает судорожно цепляться за свою ложную роль; его сознание раздваивается, и после очередного стакана он „впадает в самую эксцентрическую чувствительность" и снова начинает всех любить. Ему хочется обиться со всеми, рассказать им откровенно, какой он добрый и славный человек, как будет полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов спускаться до всех, до самых низших. Он также хочет сказать о назначении России в числе прочих европейских держав (одна из важнейших проблем публицистики Достоевского). „Упомяну и о крестьянском вопросе, да и ... и все они будут любить меня, и я выйду со славой!" (Стр. 41).

Гости откровенно хохочут над пьяным генералом, но он отхлебывает еще раз из бокала и начинает свой спич:

„... Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу-гуманность...

- Гу-гуманность! - раздалось на другом конце стола.

- Гу-гу!

- Ты-ты!". (Стр. 42).

И далее развивается, как лавина, осмеяние неадаптивного героя гуманности. Мы видим в «Скверном анекдоте» один из самых ярких примеров того, что Л.П. Гроссман характеризует как «публичное посрамление тщеславца при внезапном крахе его общественной репутации» («Достоевский-художник»), а И.М. Бахтин — как «равенчагние карнавального короля» («Проблемы поэтики Достоевского»). Перекрестный огонь насмешек и передразнивающих каламбуров, под которым корчится Иван Ильич, написан в стиле Бальзака: этот застольный разговор прямо восходит к эпизоду осмеяния папаша Горю за столом в пансионе мадам Воке.

Чуть не плача, Иван Ильич спрашивает: «Чем я унижил тебя?» Это вопрос повторяется трижды в последовательно усложняющихся вариантах. Варьирующий повтор — один из любимых приемов Достоевского. «Я обращаюсь ко всем: очень я унижен в ваших глазах или нет?» Воцаряется гробовое молчание и вдруг пьяный сотрудник «Головешки» громовым голосом провозгласит: «Ретроград!»

« — Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья, и я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые ласканы до младенческих жен своих подчиненных! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа...» (Стр. 45).

В этой речи правда переходит в комически-нелепое обличительство. Тем не менее, стоит задуматься, почему Достоевский вложил эту завершающую посрамление генерала и отчасти справедливую речь в уста смешного, высокомерного, глупого

сотрудника демократического журнала. Весть кончик, теплота обличений компрометирует здесь самое правду. Видимо, эта истина факта, лежащая на поверхности, не рассматривается Достоевским как настоящая правда.

Пселдонимов вышвыривает обличителя, все в панике окружают Генерала, пытаюсь его успокоить. Но он в отчаянии, он кричит: «Я уничтожен... я пришел... я хотел, так сказать, крестить. И вот за все, за все!» (Стр. 45). Он падает на стул и склоняет голову в тарелку с бламаже. У читателя возникает возвратная ассоциация с раздавленным в сених галантиром: предвестие осуществилось. Этой второй физически выразительной деталью, похожей на швыряние кремowych тортов в лица джентльменов у раннего Чарли Чаплина, завершается «посрамление». Генерал падает на пол и засыпает. Пселдонимов хватается за волосы.

Далее автор реконструирует изнанку событий, изображая положение Пселдонимова и механику его поведения. Задавленный жизнью чиновник — частый персонаж в произведениях Достоевского. Но это уже совершенно не тот «маленький человек», которого мы видели в докторских произведениях писателя. «Пселдонимов был характера твердого». Жизнь выработала в нем «муравьиное упорство» и «бессознательную решимость выбиться на дорогу», по лицу его было видно, что он «устроит гнездо и, может быть, даже скопит и про запас». (Стр. 47). Эта рабская живучесть мещанина вызывает у автора резко отрицательное отношение. В согласии Пселдонимова жениться на дочери Млекопитаева и отдаться на милость этого вечно пьяного домашнего тирана проявляется обдуманый, сознательный

от собственной личности.

Между тем, пьяного Ивана Ильича укладывают на кровать, приготовленную для новобрачных, а молодым стелют в зале на стульях. Грубые детали нагромождаются одна на другую: «с Иваном Ильичом сделалось ужасное расстройство желудка», и мать Иваных «всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять». (Стр. 53). Этот прием

гиперболизированного унижения героя может показаться избыточным, генерал уже унижен и осознал свое унижение. Субъект наказания перестал быть смешным, т.к. исчезло несоответствие между мнимым и реальным; на этом несоответствии основан комический эффект, но как только оно ликвидируется, продолжающееся унижение героя становится избыточным, гиперболическим, и комический эффект переходит в свою противоположность — в трагический эффект. Читатель испытывает отвращение, смешанное с болью, и психический протест против чрезмерности наказания готовит в нем невольное сострадание к развенчанному герою. Иван Ильич — сам жертва «внешней силы», он субъективно добр, как неоднократно подчеркивает Достоевский, но он находится во власти необходимости — моральных и психологических законов своего класса. Субъективное доброе чувство сталкивается в нем с неумолимым моральным долгом — «сохранить свое лицо», т.е. маску. Это столкновение, происходящее в душе Ивана Ильича, по своему существу не смешно, а трагично. Бессознательные, человеческие стремления не могут прорваться сквозь блокаду сверхличных, моральных императивов, навязанных социальными условиями. Вина же Иван Ильича посылка, поскольку он ищет самому себе, не хочет сознаться

себе в истинном положении вещей".

После этой устремленной расправы Достоевский совершает вторую казнь — на сей раз над «маленьким человеком». В зале, где заперли молодых, «вдруг послышался раздражающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства». (Стр. 33). Этот непристойный намек дополняется картиной, доходящей до шизиды: ворвавшись в зал женщины видит, что стулья, на которых было составлено импровизированное брачное ложе, разъехались, и перина провалилась на пол. Пселдонимов не смог исполнить свой супружеский долг. Мать новобрачной осуждает его позорными обвинениями и уводит свою дочь.

Пселдонимов остается один в угрюмом раадумье. «Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний» (Стр. 34). Насмешка Достоевского пропитана здесь чуть ли не яростью. Писатель подчеркивает бессмысленность жертв, принесенных Пселдонимовым ради материального преуспевания. Все унижения, которые перенес Пселдонимов, оказываются напрасными: Млеконитаев надул его с приданым, службу придется оставить, у жены дьявольский характер. Так наказывает Достоевский поскорность, терпение и муравьиное накопительство «маленького человека».

После рвоты и расстройства желудка генерал Пралинский пробуждается, охваченный смертельным стыдом. Он собирается таксельно улизнуть, как вдруг входит старуха Пселдонимова с тазом и рукомошником и заставляет его умыться. «И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться

себе в истинном положении вещей.

После этой устремляющей расправы Достоевский совершает вторую казнь — на сей раз над «маленьким человеком». В зале, где заперли молодых, «вдруг послышался раздирающий крик, не страдальный крик, а самого злокачественного свойства». (Стр. 33). Этот непристойный намек дополняется картиной, доходящей до цинизма: ворвавшиеся в зал женщины видят, что стулья, на которых было составлено импровизированное брачное ложе, разбежались, и перина провалилась на пол. Пселдонимов не смог исполнить свой супружеский долг. Мать новобрачной осуждает его позорными обвинениями и уводит свою дочь.

Пселдонимов остается один в угрюмом раздумье. «Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний» (Стр. 54). Насмешка Достоевского пропитана здесь чуть ли не яростью. Писатель подчеркивает бессмысленность жертв, принесенных Пселдонимовым ради материального преуспевания. Все унижения, которые перенес Пселдонимов, оказываются напрасными: Илекопитаев надул его с приданым, службу придется оставить, у жены дьявольский характер. Так наказывает Достоевский покорность, терпение и муравьиное накопительство «маленького человека».

После рвоты и расстройства желудка генерал Пралинский пробуждается, охваченный смертельным стыдом. Он собирается тихонько улезнуть, как вдруг входит старуха Пселдонимова с тавом и рукомойником и заставляет его умыться. «И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться

и не бояться, так это именно эта старуха". (Стр. 58). Достоевский акцентирует важность сныги посредством детального описания рукомогника, мыла и полотенца. Он поэтизирует беспредельную доброту и воскрешение старой женщины из народа. Старуха Пселдонисова олицетворяет совесть этого рассказа, и в лице ее автор как бы проявляет снисхождение к жестоко наказанному Ивану Ильичу.

Последующий комментарий Достоевского читается между строк. Восемь дней генерал не выходил из дома. «Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад... Были минуты, когда он было думал постречься в монахи (...). Ему представилось тихое, подземное пенье, открытый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры; но, очнувшись, он почти тотчас же сознавался, что все это ужаснейший вадор и преувеличения, и стыдился этого вадора". (Стр. 57). Очевидно, сам Достоевский не считал это вадором. В этом месте у Достоевского впервые, хотя лишь в виде фантастического предположения, изображается возможный путь религиозного перерождения героя.

«Сам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя окончательно: он не находил себе оправданий и стыдился их". (Стр. 58). Крайнее самоунижение героя так же нелепо, как и его пьяные фантазии и прежнее самовозвеличение. Достоевский смотрит на изображаемое более простым и человеческим взглядом, он явно лучшего мнения о генерале, чем сам Иван Ильич.

Придя наконец в должность, Иван Ильич ожидает двусмысленного шепота и улыбок. Но здесь опять все идет вопреки его ожиданиям. Его встречают почтительно и серьезно: ведь

«внешняя сила» — машина социальных условий — заработала теперь на него. Иван Ильич берется за дело, рассуждает и решает так дельно, как никогда, и видит, что им довольны. В кабинете появляется тот самый столоначальник, подливавший генералу вино на злополучной свадьбе: и с ним все проходит лучшим образом. В конце беседы столоначальник передает генералу просьбу чиновника Псеидонимова о переводе. Иван Ильич с облегчением соглашается.

И здесь на какой-то момент Достоевский сообщает действие возвратное движение. Генерал вдруг, «в порыве благородства», решает высказаться окончательно. «На него, очевидно, опять нашло вдохновение», — с возвратившейся внезапно злой иронией комментирует автор. Иван Ильич устремляет на собеседника ясный и глубокий взгляд: «Передайте Псеидонимову, что я не желаю зла; да, не желаю!.. Что, напротив, я готов даже забыть все прошедшее, забыть все, все»... (Стр. 69). Он осекается, изумленный парадоксальной реакцией столоначальника: тот покраснел «до последней глупости», начал торопливо до неприличия кланяться и пятиться к дверям. Иван Ильич ничего не понимает. Но эта реакция совершенно понятна — старому чиновнику стыдно, конфузно слышать глупейшую лодь генерала и в то же время страшно осудить эту лодь; поэтому невыносимого раздвоения психологии между стыдом и благоговейным страхом столоначальник спешит поскорее избавиться.

Иван Ильич этого не понимает, но интуитивно чувствует смысл этой парадоксальной реакции. Он остается один. Следует развязка рассказа.

« — Нет, строгость, да строгость и строгость! — подумал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила все его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни. «Не выдержал!» — сказал он про себя и в бессилии спустился на стул». (Стр. 60).

Так в самом конце рассказа возвращается загадочное слово Степана Иакифоровича. Теперь оно разъяснилось: Иван Ильич не выдержал гуманности и вернулся в естественное состояние жестокости к подчиненным. Даже в глубочайшем своем унижении, когда он вызывает не только презрение, но и жалость, герой может приблизиться лишь к одной-единственной душе, к душе всепрощающей, простой русской женщины. Но это молчаливое понимание длится всего лишь миг, и генерал в ужасе бежит от него, не сказав ни слова благодарности. Подлинно человеческая близость безмерно страшит его, он на нее не способен. Иван Ильич обречен на одиночество. Проклятие всего цивилизованного общества — в разобщенности людей. И не случайно в последней строке рассказа «Скверный анекдот» звучит слово «бессилие»: рассказ проникнут жесточайшим скепсисом и пессимизмом. Задуманный как сатира, он постепенно переходит в безобразный кошмар. Явительная ирония начальных страниц не помогает в борьбе с отчаянием. Спать, как это характерно для Достоевского в переходный период, исполнение оборачивается прощом замысла. Но на этот раз, в отличие от «Униженных и оскорбленных», двойственность авторского отношения отнюдь не способствовала успеху произведения.

Чувство дезориентированности, какое испытывает читатель «Скверного анекдота», полностью снимается, если понять динамику авторской позиции. Достоевский 1832 года смеется над наглыми порывами «эры освобождения» и над своим собственным «вчера», над собою вчерашним. Однако в этот момент он не может ничего предположить взамен осмеянной веры, и видит беадну, и смех из его уст замирает. Происходит своеобразное раздвоение личности автора, не объяснимое ни чисто психологически, ни исключительно в сфере литературоведения. Конечно, в Достоевском существовала внутренняя, психическая возможность такого раздвоения; конечно, он мог воспользоваться для выражения своих идей и чувств техникой «двояственных жанров». Но ни психологические особенности писателя, ни влияния специфической жанровой традиции не являются причинами так называемого «дуализма» Достоевского. Причина этого — судьба Достоевского в контексте судеб России, его духовная жизнь, его внутренняя трагедия. Скептицизм и тоска по идеалу росли в его душе параллельно, с одинаковой силой, и в критические моменты его жизни происходило крайнее обострение противоречий, но не их разрешение. Это и наблюдается в рассказе «Скверный анекдот»: чем язвительнее автор смеется над ложно-гуманистическим порывом героя, тем большее становится самому автору.

«Скверный анекдот» — первое произведение Достоевского, где социально-политические идеи непосредственно входят в художественный материал как предмет изображения. Об этом, в частности, говорила Л.М.Розенблом: «... В первые годы

«переходного» периода (до 1868 г.) публицистика и художественное творчество Достоевского развиваются несколько обособленно, существует определенный разрыв между ними. (...).

Начиная с 1868 годом, темы и идеи публицистики органически входят в художественные произведения писателя".<sup>1)</sup>

Первым из таких произведений Л.М. Розенблом называет «Скверный анекдот».

Слияние остропублицистической тематики с картиной жизни и нравов было вызвано начавшейся ломкой идейного компромисса. Отказываясь от примирительной позиции, Достоевский начал вводить злободневный политический материал в художественные произведения, применяя при этом полемические приемы контраста и доведения до абсурда в качестве важнейших композиционных элементов. Сатира «Скверного анекдота» строится по тем же принципам, что и публицистика Достоевского. Однако обновление мастерства означало не только введение публицистических тем, идей и приемов; Достоевский в «Скверном анекдоте» реализует принцип исключительности характеров, рисует парадоксальные реакции персонажей. Весь рассказ соткан из неожиданностей и в то же время проникнут строжайшей внутренней логикой; но это не формальная логика механистического разума, а так сказать, логика сердца. Смешные героя оказывается подчиненной задачей, главное в рассказе — осознание невозможности «слития образованности с гачалом народным», т.е. дискредитация идеи социального прогресса. Эмо-

---

1) Вступительная статья Л.М. Розенблом к роману «Униженные и оскорбленные», М., ГИХЛ, 1955, стр. 6-7.

диональным (свое) рассказе стучит чувство отчаяния, а осмысление автором его является "идеи", самосознание Достоевского, окрашено специфическим, мучительным трагизмом. Ибо Федор Достоевский пережил крушение надежд освободительной эры как свою личную трагедию. К. Мочульский называет "Скверный анекдот" "грубым фарсом". Это представляется нам весьма недостаточным. Гораздо ближе к истине Л. П. Гроссман, который в своей лучшей работе "Достоевский - художник" отмечает в творчестве Достоевского 60-х годов новый прием: "скверный анекдот, перерастающий в высшую трагедию". Это - обобщенная формулировка, но она связана с рассказом "Скверный анекдот", где грубый фарс именно в силу яростной чрезмерности переходит в свою противоположность, вызывает болевой эффект; комическое становится трагическим, язвительная ирония - острой болью.

"Скверный анекдот" - предвестие второго идеального кризиса Достоевского. В нем наблюдается нарастание трагических противоречий, душевного скрежета. Страшное разочарование "похмельного" 1862 года захватило писателя. Скверный анекдот о генерале, упившемся до положения <sup>и</sup>раз на свадьбе регистратора, оказывается направлен против ложного гуманизма либеральных реформаторов и одновременно против веры демократов в революционность народа. В "Скверном анекдоте" не достает человеческого тепла, не достает красоты человека, пусть даже трагической, как, например, красота Нелли в "Униженных и оскорбленных", красота Мармеладова и его дочери.

Но недаром в конце рассказа герой испытывает сильнейший стыд, какого он никогда еще не переживал. Это стыд за

этой ложную роль, это впервые пробудившееся настоящее моральное сознание. Вот для чего с таким яростным одушевлением работал автор - пробудить в герое и читателе чувство стыда за свое самодовольство, пробудить его совесть, вызвать чувство глубокой вины перед народом. Стыд - катарсис трагикомедии, единственный положительный результат приключения Ивана Ильича.

Снова, как в "Селе Степанчикове", Достоевский идет "против течения", попирая принципы социальной типизации, демонстрируя исключительность каждого конкретного случая, делая жертвой фарса и кандидатом на моральное обесчещение генерал, аристократа, одного из сильных мира сего. Достоевский отнодь не питает к нему ненависти, он скорее даже любит героя в унижении, которое является необходимым условием для трагизма. Этот специфический трагизм униженности и есть то, что мы называем болезненным эффектом. Достоевский постепенно учится владеть этим обоюдоострым оружием, и неловкое его применение является причиной неудачи рассказа. Жестокое наказание "маленького человека" не компенсируется светлым образом женщины из народа, едва намечающим направление положительной разработки темы. "Сиверный анекдот" не имел и не мог иметь успеха, но для нас он знаменует одну из вех идейно-творческой эволюции Достоевского, чем оправдывается проделанный анализ.

## П.

В февральском и мартовском номерах журнала "Время" за 1863 год появились "Зимние заметки о летних впечатлениях"

результат знакомства Достоевского с Западной Европой. При всей своей идейно-тематической сложности, этот "фельетон", как назвал "Зимние заметки" сам автор, является прежде всего памфлетом против буржуазной цивилизации, одной из вершин романтической критики капитализма во всей мировой литературе. Изображая Париж эпохи Второй Империи и Лондон викторианской эры, Достоевский создал впечатляющую картину владычества буржуазии.

В предыдущем разделе этой главы уже говорилось о том, какую Францию застал Достоевский в 1862 году. В "Зимних заметках" он выделяет как характерные черты французского буржуа лакейство, возведенное в добродетель, и шпионаж, развитый до искусства, напыщенное красноречие и фальшивое благородство. Наблонное мнение о французах как о ветреной и безрассудной нации, равно как общее представление о Париже как о столице веселья и легких нравов, Достоевский выворачивает наизнанку. С особым нажимом он сообщает читателю свое парадоксальное определение Парижа: "это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре".<sup>1)</sup> "И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка." (Стр. 91, курсив Достоевского). Веселый Париж стал столицей мещанства, афишированной мещанской добродетели, и Достоевский с замечательной точностью передает ощущение удушли-

1) Собр. соч., т. IV, М., 1956, стр. 91. Далее "Зимние заметки с летних впечатлений" цитируются с указанием страниц в тексте.

вой атмосферы, окутавшей великий город с воцарением Луи Бонапарта. «И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация..., а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая». (Стр. 92).

И в этом благополучнейшем городе царит страх. Буржуа полон страха, он чего-то боится, прячет свою голову в песок, словно страус, «чтоб так уж и не видать наступающих его охотников». (Стр. 99). В чем же причина этого страха? Достоевский приходит к выводу, что буржуа боится социалистов и коммунистов. И далее писатель доказывает невозможность социализма во Франции, опираясь на утверждение об отсутствии братского, общечеловеческого начала в самом французском народе. По его мнению, рабочие являются собственниками в душе, крестьяне — «архисобственники». Достоевский ставит социалистическое устройство общества в зависимость от врожденного братского начала в народной психологии и завершает шестую главу «Зимних заметок» (знаменитый «Спыт о буржуа») любопытным выводом: «Другими словами: хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции». (Стр. 110). Но ведь органическое братское начало Достоевский усматривал только в русском народе, провозглашая, что русская община есть зародыш той самой ассоциации производителей, которую «западные публицисты» считают своим далеким идеалом. Таким образом, скрытый смысл его вывода — социализм возможен только в России. Это его прежняя идея русского «ненасильственного» пути к социализму, и она выступает в обрамлении инвектив против

буржуазии, против собственности, против капиталистического рабства. Последнее слово употреблено самим Достоевским: "голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание". (Стр. 93).

В главе "Ваал" писатель набрасывает величественно-мрачную картину Лондона с его резкими контрастами роскоши и нищеты, со страдающими в бедности массами пролетариев и высокомерием Ваала - безраздельно царствующего капитализма. Достоевский словно подавлен силой этого "гордого и мрачного духа" и говорит в нем в тоне религиозного пророчества, прибегая к символике и стилю Апокалипсиса, вплоть до вольного цитирования отдельных мест. Если в Париже писателю бросился в глаза страх французского буржуа, то в могучем Лондоне он сам почувствовал невольный трепет. В ту эпоху британский капитализм казался абсолютно несокрушимым, и Достоевский вновь, как в Омском остроге, испытывал тягостное чувство своей полной беспомощности перед аморализмом грубой силы. И вполне естественно для Достоевского описание бедности, разврата и пьянства рабов Ваала переходят в размышления о темных религиозных исканиях английской черни, о мормонах, о католической пропаганде в Лондоне. Социальная проблема переходит в морально-идеологическую плоскость.

В "Зимних заметках" постепенно формируется мысль о том, что общественное устройство зависит от сознания людей. При этом Достоевский не может избежать противоречий. Так, он говорит о французских рабочих: "Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь их идеал в том, чтоб

быть собственниками и накопить как можно больше вещей"; такая уж натура. Натура даром не даётся. Все это веками выработано и веками воспитано. Национальность не легко переделывается, не легко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь". (Стр. 105). Иными словами, национальная психология детерминируется, "воспитывается" историческим процессом, она не является неизменной, но изменяется "не легко". Именно этой относительной устойчивостью национальной психологии Достоевский аргументирует свое утверждение о невозможности социализма во Франции. Так что в конечном счете он склоняется к истолкованию социальных явлений моральными причинами: нравы людей определяют их общественное устройство. Корень социальных бед - человеческая душа со всеми ее дурными страстями, с эгоизмом, с жадной собственностью. Однако, по мысли Достоевского, человек не является фатально неизменным, для него открыт путь свободного развития собственной личности. В дальнейшем Достоевский будет представлять это развитие как трагическую борьбу, ведущую или к гибели, или к очищению. Но уже в "Зимних заметках" он указывает направление развития человеческой личности, все в том же "Спыте о буржуа":

— "Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самвольное, совершенно сознательное и никем

не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, призыв к высочайшему развитию личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самоблагодания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности". (Стр. 106-107). Достоевский здесь прямо декларирует, что подвиг самопожертвования ради блага общества есть высшее проявление свободы воли. От проблемы справедливого и гармоничного общественного устройства он на наших глазах переходит к проблеме свободы воли, которая рассматривается им как ключ к решению социальных задач. Это имело огромное значение для последующего творчества Достоевского. В дальнейшем его внимание все более концентрируется на морально-философских проблемах, более важных, по его мнению, для человека, чем непосредственные социальные проблемы. Год создания «Зимних заметок о летних впечатлениях», 1863 год, явился годом духовного перерождения писателя, годом его второго идейного кризиса, причины которого мы будем в дальнейшем рассматривать.

Советский критик В.Б.Александров — Келлер давно уже отметил эту связь общественной утопии Достоевского с отвлеченной морально-философской проблематикой его романов. «Утопия Достоевского, — писал Александров, — находится в несомненном родстве с воззрениями утопического социализма и в то же время полемически противопоставлена некоторым

ив этих воззрений".<sup>1)</sup> Достоевский отказывается от "устрой-  
ства в подробностях", от детализованных проектов будущего  
общества. "Достоевский отвергает всякую апелляцию к како-  
му-либо материальному интересу. Основание идеала должно  
быть моральным, а не утилитарным. Нужно начинать с морали"<sup>2)</sup>  
Александров совершенно прав. Развивая его мысль, можно ска-  
зать, что деятельность писателя-моралиста, изображающего  
"глубины души человеческой" и зовущего своих соотечествен-  
ников к духовному обновлению, рассматривалась Достоевским  
как деятельность социальная и общечеловеческая, как сту-  
пень на пути к высокой цели. Достоевский верил в свою уто-  
пию, в миллениум христианского социализма, и призывал лю-  
дей к бескорыстному братству. Для него жизненной задачей  
было не изображение жизни, а ее пресобразование. Цели искус-  
ства лежат вне искусства; но средства достижения этих (об-  
щечеловеческих) целей должны быть специфическими<sup>3)</sup> только ху-  
дожественными средствами.

Возвращаясь к "зимним заметкам о летних впечатлениях",  
отметим сразу же, что идея самопожертвования у Достоевско-  
го резко противопоставлена теории разумного эгоизма, ути-  
литарной морали, принятой на вооружение русскими револю-  
ционерами - демократами. Нужно приносить себя в жертву,  
не думая ни о какой выгоде, ни о малейшей компенсации со  
стороны общества, говорит Достоевский. Как же достичь это-  
го? Искусственно "сделать" это невозможно. "Сделать никак

1) В. Александров, "Люди и книги", сборник статей, М.,  
1956 г., стр. 71.

2) Там же, стр. 72.

из этих воззрений".<sup>1)</sup> Достоевский отказывается от "устройства в подробностях", от детализованных проектов будущего общества. "Достоевский отвергает всякую апелляцию к какому-либо материальному интересу. Основание идеала должно быть моральным, а не утилитарным. Нужно начинать с морали"<sup>2)</sup> Александров совершенно прав. Развивая его мысль, можно сказать, что деятельность писателя-моралиста, изображающего "глубины души человеческой" и зовущего своих соотечественников к духовному обновлению, рассматривалась Достоевским как деятельность социальная и общечеловеческая, как ступень на пути к высокой цели. Достоевский верил в свою утопию, в миллениум христианского социализма, и призывал людей к бескорыстному братству. Для него жизненной задачей было не изображение жизни, а ее преображение. Цели искусства лежат вне искусства; но средства достижения этих (общечеловеческих) целей должны быть специфическими<sup>3)</sup> только художественными средствами.

Возвращаясь к "Зимним заметкам о летних впечатлениях", отметим сразу же, что идея самопожертвования у Достоевского резко противопоставлена теории разумного эгоизма, утилитарной морали, принятой на вооружение русскими революционерами - демократами. Нужно приносить себя в жертву, не думая ни о какой выгоде, ни о малейшей компенсации со стороны общества, говорит Достоевский. Как же достичь этого? Искусственно "сделать" это невозможно. "Сделать никак

1) В. Александров, "Люди и книги", сборник статей, М., 1956 г., стр. 71.

2) Там же, стр. 72.

нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало - надо любить. Надо, чтоб самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на вешества иноплеменников, - одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков". (Стр. 107, курсив Достоевского).  
 Не подлежит сомнению, что в этом описании речь идет о русской нации.

И далее, изобразив в виде диалога гармонию личности и общества на основе свободного взаимного самопожертвования, Достоевский прерывает ход своих рассуждений характерным двусмысленным восклицанием:

"Эка ведь в самом деле утопия, господа! Все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это же даже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Утопия это или нет?" (стр. 108) Этим мнимым возражением самому себе, опережающим рядилку оппонента, Достоевский вызывающе подчеркивает антирационалистический, антитеоретический характер своих рассуждений. По его мысли, разумная выгода, разумный эгоизм искажают человеческую природу, которая органически тяготеет к любви.

Социалисты, говорит Достоевский, за неимением брат-

ства в натуре западного человека начинают «в отчаянии» соблазнять людей на братство посулами будущих материальных выгод, уговаривают «жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании». «Но тут опять выходит загадка: кажутся, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог, и что самому по себе лучше, потому — полная воля ( ... ). Разумеется, социалисту приходится плонуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды; что муравей, какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так разложено, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника!» (Стр. 109).

Это опровержение социализма неукротимостью человеческой личности, ее вечной жаждой свободы Достоевский впоследствии развил в «Записках из подполья»: туда же перешел из «Зимних заметок» символический образ «муравейника». Именно этот аспект «Зимних заметок» выделяет А.С. Долинин в своей известной статье «Достоевский и Герцен»<sup>1)</sup> говоря о «герценизме» Достоевского и о борьбе его против завещанной Герценом «религии общественного пересоздания».

1) А.С. Долинин. «Последние романы Достоевского», М.—Л, 1963

го замечательный советский исследователь, по нашему мнению, несколько недооценивает другой аспект Тельетона Достоевского: проповедь русского этического социализма, о котором мы уже говорили выше. Термин «этический» употреблен здесь не случайно: в момент создания «Зимних заметок о летних впечатлениях», в утопии Достоевского отсутствовал религиозный элемент и программа морального обновления носила общегуманистический характер. «Зимние заметки о летних впечатлениях» создавались на исходе переходного периода Достоевского, накануне решающих событий второго идейного кризиса. Хотя в них уже содержатся в зародыше некоторые идеи «Записок из подполья» и уже ставится кардинальная проблема свободы воли, оба эти произведения Достоевского содержат принципиальные различия.

Итак, основная тема «Зимних заметок о летних впечатлениях» — тема буржуазии, победившего мещанства. Эта тема, как доказал А.С.Долинин, связана с влиянием Герцена. Но на фоне картины капиталистического Запада великий писатель ставит две проблемы, одна из которых как бы заменяет другую: это проблема общественного устройства и заменяющая ее проблема свободы воли. Очень важный момент: проблема свободы выдвигается Достоевским как первая стадия решения проблемы общественной гармонии. Личность и общество рассматриваются Достоевским как равноправные участники диалога. Он не отдает предпочтения ни той, ни другой стороне. С его точки зрения, доведенный до крайности личный принцип (эгоизм) порождает буржуазное общество. Однако малей-

Но замечательный советский исследователь, по нашему мнению, несколько недооценивает другой аспект Фельетона Достоевского: проповедь русского этического социализма, о котором мы уже говорили выше. Термин "этический" употреблен здесь не случайно: в момент создания "Зимних заметок о летних впечатлениях", в утопии Достоевского отсутствовал религиозный элемент и программа морального обновления носила общегуманистический характер. "Зимние заметки о летних впечатлениях" создавались на исходе переходного периода Достоевского, накануне решающих событий второго идейного кризиса. Хотя в них уже содержится в зародке некоторые идеи "Записок из подполья" и уже ставится кардинальная проблема свободы воли, оба эти произведения Достоевского содержат принципиальные различия.

Итак, основная тема "Зимних заметок о летних впечатлениях" — тема буржуазии, победившего меркантизма. Эта тема, как доказал А.С.Долгинин, связана с влиянием Герцена. Но на фоне картины капиталистического Запада великий писатель ставит две проблемы, одна из которых как бы заменяет другую: это проблема общественного устройства и заменяющая ее проблема свободы воли. Очень важный момент: проблема свободы выдвигается Достоевским как первая стадия решения проблемы общественной гармонии. Личность и общество рассматриваются Достоевским как равноправные участники диалога. Он не отдает предпочтения ни той, ни другой стороне. С его точки зрения, доведенный до крайности личный принцип (эгоизм) порождает буржуазное общество. Однако малей-

нее ущемление прав личности в интересах общества оказывается невыносимым для человека, что и подрывает социалистический идеал. Достоевский видит выход только в одном - свободном самоотречении личности и общества в пользу друг друга. Он считает, что прежде всего должна быть решена эта основополагающая моральная проблема, а все остальное, материальная сторона проблемы, решится автоматически: **"Любите друг друга, и все сие вам приложится"**. (Стр.108).

Таким образом, Достоевский предполагает, что воля человека свободна и что наивысшая свобода воли в конечном счете приведет к гармоническому обществу. Достоевский **верит** в развитие личности, и его вера не основана ни на каких теоретических аргументах. Достоевский бессознательно стремится сохранить гуманизм эпохи Просвещения без ее рационализма, он строит свою философию не по велениям рассудка, а по сердечной склонности. Утопия Достоевского иррациональна, она принципиально разрывает с разумом. Проблема личности занимает в последующем творчестве Достоевского центральное место, тогда как проблема общественного устройства отодвигается на второй план.

Одним из главнейших средств идейно-эмоционального эксперимента Достоевского становится специфический **"болезненный"** анализ человеческой психики, проведение героя, носителя определенной идеи, сквозь ряд испытаний, вплоть до катастрофы. В этих испытаниях, а особенно в катастрофе, устанавливается степень ценности и жизнеспособности **"идеи-чувства"**. Этот анализ сам по себе имеет для Достоевского

весьма серьезное значение: писатель не просто стремится к объективности, он хочет в своем романе сам найти определенную истину, он экспериментирует в лице своих персонажей с идеями романа. Поэтому Достоевский должен создавать для эксперимента строгие условия, он должен воздвигать перед героями самые трудные и неожиданные препятствия. Так, в «Скверном анекдоте» он подвергает самым тяжелым испытаниям либерал-а-реформатора, приводит его «гуманность» к полному крушению, но само осознание этого крушения дает как бы надежду на выход из мертвого тупика человеческого непонимания. Для этого результата писателю понадобилась обстановка грубого фарса с жестокими натуралистическими «казнями» обоих противостоящих персонажей, с широчайшим использованием «болевого эффекта».

Этот очень важный художественный прием Достоевского обосновывается им в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Исследователи этого произведения, насколько нам известно, не обращают внимания на одно из высказанных здесь литературно-критических мнений Достоевского. Мы имеем в виду его парадоксальное «похвальное слово глупости», его восхваление фонвизинской бригадирши. Писатель удивляется и задается вопросом, почему Фонвизин «одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире» вложил в уста не европейски-гуманной Софьи, а дуры-бригадирши, простой и глупой бабы. Он цитирует один из диалогов классической русской комедии, где Бригадирша расска-

весьма серьезное значение: писатель не просто стремится к объективности, он хочет в своем романе сам найти определенную истину, он экспериментирует в лице своих персонажей с идеями романа. Поэтому Достоевский должен создавать для эксперимента строгие условия, он должен воздвигать перед героями самые трудные и неожиданные препятствия. Так, в «Скверном анекдоте» он подвергает самым тяжелым испытаниям либерал-а-реформатора, приводит его «гуманность» к полному крушению, но само осознание этого крушения дает как бы надежду на выход из мертвого тупика человеческого непонимания. Для этого результата писателю понадобилась обстановка грубого фарса с жестокими натуралистическими «казнями» обоих противостоящих персонажей, с широчайшим использованием «болевого эффекта».

Этот очень важный художественный прием Достоевского обосновывается им в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Исследователи этого произведения, насколько нам известно, не обращают внимания на одно из высказанных здесь литературно-критических мнений Достоевского. Мы имеем в виду его парадоксальное «похвальное слово глупости», его восхваление фонвизинской бригадирши. Писатель удивляется и задается вопросом, почему Фонвизин «одну их замечательнейших фраз в своем «Бригадире» вложил в уста не европейски-гуманной Софьи, а дуры-бригадирши, простой и глупой бабы. Он цитирует один из диалогов классической русской комедии, где бригадирша расска-

являет о капитане Гвондилове, который беспричинно и без-  
винно "гвондил" свою жену.

"Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказы-  
вать о том, что вразумляет человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты и слушать об этом не  
хочешь, каково ж было терпеть капитанше?"

Достоевского восхищает в этом фрагменте грубое стол-  
кновение сентиментального гуманизма, любящего выдуманное  
человечество и закрывающего глаза перед грозным лицом  
жизни, с жестокой правдой действительности: "Таким-то об-  
разом и сбродила благовоспитанная Софья с своей оранже-  
рейной чувствительностью перед простой бабой. Это удиви-  
тельное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ни-  
чего у него метче, гуманнее и ... печальнее. И сколько у  
нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых  
передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны  
своей оранжерейнстью и ничего не требуют большего. Но  
замечательнее всего, что Гвондилов до сих пор еще гвондил  
свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом,  
чем прежде". (Стр. 73). Достоевский заявляет, что у Фон-  
визина нет ничего гуманнее, чем "удивительное репарти" бри-  
гадирши. Иными словами, долг гуманиста - это говорить  
жестокую правду людям, какую бы резкую боль она ни вызвала:  
Достоевский говорит о пользе "болевого эффекта". Но у  
Фонвизина, действительно, эта мысль вылетает печально,  
неосознанно, тогда как он, Достоевский, вполне осознает  
важность болезненно режущей правды в век оранжерейных

прогрессистов и модернизированных Гвсадилловых.

И причем эту правду он говорит в лицо всем своим соотечественникам, подразумевая, что образованное русское общество делится на славянофилов и западников. Достоевский стремится в этом споре по-прежнему сохранять независимую, срединную позицию, но по сравнению с первыми статьями "Времени" мы наблюдаем в ней определенный крен в сторону славянофильства. Он находит теперь, что это течение русской мысли имело в прошлом глубокие основания: "Ведь не с неба же в самом деле свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает". (Стр. 69). Однако вскоре, словно смутившись такого полупризнания обоснованности славянофильства, Достоевский компенсирует это полупризнание ядовитой насмешкой над "московскими": "... и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться с народом, не надели-таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм, немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники". (Стр. 71). Он имеет в виду высокие сапоги, терлик и мурмолку Константина Аксакова. В дневнике профессора Иикитенко записано под 20 января 1856 года о знакомстве на вечере у министра с А.С.Хомяковым: знаменитый славянофил был одет в красную

росоворотку и держал мурзилку подмышкой, но говорил большей частью по-французски... Этот показной, оперный патристизм славянофилов вызвал у Достоевского жесточайшую насмешку.

Но зато он усматривал признаки «широкого основания» славянофильской затеи там, где этого никто не ожидал. Он говорит, что в определенном смысле сам Виссарион Белинский был «тайный славянофил», что в нем жило бессознательное чувство русского превосходства. «В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский».. (Стр. 67). Под широким основанием славянофильства Достоевский, очевидно, подразумевает стихийное «почвенное» сознание особого предназначения России.

Он высказывает убеждение, что и «привилегированная и патентованная кучка» русского общества, сто тысяч цивилизованных русских людей над пятидесятиmillionным нецивилизованным народом, все же, несмотря на все влияния, не переродились в европейцев. «Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое сближение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, то все-таки назад воротиться». (Стр. 69). Европеизм русского образованного общества — это только личина, говорит Достоевский. Но личина эта ужасна и отвратительна. «Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы (...). Зато как мы спокойны, величаво — спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали».

(Стр. 79). В этом преклонении перед европейской цивилизацией и в презрении к русскому национальному, «почвенному» началу Достоевский обвиняет прогрессистов, т.е. демократов 60-х годов. Он обвиняет их в смешении понятий цивилизации и «нормального, истинного развития». Цивилизация в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и торьмой над всяким развитием», «за нее стоит только один собственник... чтоб спасти свои деньги». Истинное развитие Достоевский изображает так: «прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, несуетливая и вера в свои собственные, национальные силы».

(Стр. 81). Эта схема расшифровывается следующим образом: во-первых, русская народность с ее органическим чувством общечеловеческого братства, потом наука, «добытая из цивилизации», как писал Достоевский в 1861 году, наконец свободное развитие русского общинного принципа без всякой связи с европейским капитализмом и западной идеологией. По мысли Достоевского, западное — значит буржуазное: так, в «Зимних заметках» слова «француз» и «буржуа» употребляются однозначно. Не увидя на Западе никаких сил, противостоящих Ваалу, усматривая даже в социалистических теориях инфильтрацию корыстного, «буржуазного» духа, Достоевский отождествил Западную Европу и капитализм. Слово «цивилизация» у него стало означать только буржуазную цивилизацию. Противник собственности и «деспотизма капитала» (выражение Достоевского), он в силу этого стал противником Запада. Так утопический социализм бывшего петрашевца начал

принимать националистическую окраску. Антикапиталистические воззрения Достоевского стали "антизападными".

Выше мы охарактеризовали утопию Достоевского как этический социализм. К этому необходимо добавить, что конечное счастье человечества зрелый Достоевский предполагал достижимым только через посредство России, через русский народ. Русский народ облекается всемирно-исторической миссией спасения всех других народов, ибо он наиболее способен к скорейшему достижению гармонического общественного устройства. В этой убежденной и немотивированной идее Достоевского имеется "рациональное зерно". В силу особых исторических условий Россия XIX века испытывала колоссально ускоренный рост населения и экономики. Стремные потенциальные силы России уже тогда отмечались западными наблюдателями. Передовые русские люди, вопреки всему внешнему неблагополучию, не могли не сознавать великого исторического подъема России. Герцену при аднежит мысль о том, что именно в России может впервые в истории установиться социалистический строй. "Русский социализм" Герцена, предубежденного против кровавых эксцессов народного бунта и надеявшегося на оживление русской общины социалистической теорией, был все-таки интерпретирован Достоевским и привел последнего к идее народа - спасителя, народа - мессии. Но в период "Зимних заметок о летних впечатлениях" он связывал эту идею с духом исконного общинного братства и еще не заговаривал о божественном начале русского народа.

Тем не менее, положение Долинина о "герценизме"

Достоевского нуждается в серьезных уточнениях. Долинин говорит о борьбе писателя против герценовской «религии общественного пересоздания», о развитии этой борьбы в «Записках из подполья» и при этом цитирует высказывания подпольного человека как выражение взглядов самого Достоевского. Такое отождествление неправомерно: великий романист сам верил в «пересадание» и мечтал о гармоническом человечестве, но видел путь к нему не в социально-экономическом преобразовании общины, а в распространении самого общинного, братского чувства, оставляя в стороне «хлебный вопрос». Это различие мы уже пытались проследить в «Зимних заметках». Для Достоевского оказывается главной «потребность братской общины», а не сама община; это не игра слов, термин «потребность» заменяется словом «любовь», намечается уклон в сторону проповеди евангельской любви. В «Зимних заметках» писатель стоит на перепутье между русским социализмом Герцена и христианским социализмом своего позднего периода. Но поскольку религиозная идеология еще не совершила триумфального вступления в его утопию, мы говорим о промежуточном этическом социализме Достоевского.

Программа Герцена носила социальный характер, программа Достоевского — этический. Это различие четко выступает уже в «Зимних заметках», которые Долинин справедливо рассматривает как кульминацию герценовских влияний в творчестве Достоевского. Борьба Достоевского против Герцена — это не борьба против «пересоздания», а борьба против материального, социального пути этого «пересоздания» — за путь

морального перерождения. По моему мнению, А.С.Долинин точно обозначил водораздел между герценовским социализмом и этической утопией Достоевского в его «переходный» период.

Наступающее преобладание этической проблематики ощущено на всем протяжении «Зимних заметок». Яркими красками рисуя нищету, пьянство, проституцию в Лондоне, прямо говорит о «голоде и расстве» народа, Достоевский подчеркивает аморализм — Ваала, в частности аморализм его жрецов — слушателей богатой и самодовольной английской церкви, которые «живут в совершенном спокойствии совести». Далее следует четкое определение: «это религия богатых и уж без маски». (Стр. 98). Английские профессора религии забавляются миссионерством, обходят всю землю, чтобы в глубине Африки «обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им». (Стр. 98).

Вся картина Франции в «Зимних заметках», по существу, представляет собой детальный анализ буржуазной морали, ее лживости и лицемерия. «Накопить fortuna и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизис парижанина» (стр. 102). Однако буржуа сохраняет потребность ридиться в одежды театрального благородства. «Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика, который за четвертак продает вам родного отца... в то же время, даже в ту самую минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение». (Стр. 102).

Убийственно пародируя знаменитое "Qu'est-ce que le tiers-état?" аббата Сиефеса, Достоевский показывает банкротство "священных принципов" 1789 года, выраженных в формуле "свобода, равенство, братство". "Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все что угодно". (Стр. 105). Это ироническое определение Достоевского широко известно.

В VIII главе ("Брибри и мабишь") Достоевский срывает покровы с буржуазного брака и маску с буржуазной любви. Его сарказм достигает своих вершин. Нарисованный здесь обобщенный портрет молодого буржуа является законченным и полнокровным этюдом к образу мнимого Де-Грие в романе "Игрок".

Собое место занимает в "Зимних заметках" тема русской беспочвенности, чрезвычайно важная для всего последующего творчества Достоевского. Уже в первой главе "Зимних заметок" ставится риторический вопрос: "Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия?" (Стр. 61). "Насколько мы цивилизовались?" спрашивает далее Достоевский.

В восемнадцатом веке русское дворянство подверглось весьма поверхностному западному влиянию. "Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки - вот и европеец". (Стр. 75). Это не мешало по старинке расправляться с дворней и подличать перед высшим лицом. Несмотря на парик и манжеты, старое барство было ближе и понятнее мужику.

„Все эти господа были народ простой, кряжевой...“ (Стр.76).  
 Им представляется Достоевскому образованное общество  
 России в XIX веке. „Ну, теперь уж не то, и Петербург взял  
 свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли“. (Стр.77).  
 „Теперь уже народ нас совсем за иностранцев считает, ни  
 одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли  
 нашей не понимает, — а ведь это, как хотите, прогресс“.  
 (Стр. 79). Он говорит о презрении образованного общества  
 России к народу и народным началам, о слепом преклонении  
 перед европейской цивилизацией, короче говоря — об оторван-  
ности от народа“. В „капризной самоуверенности“, в през-  
 рении к народу Достоевский обвиняет прогрессистов, При  
 этом он делает очень любопытные различия, обращаясь к  
 прошлогодней полемике вокруг „Отцов и детей“, когда Максим  
 Антонович в „Современнике“ обвинил Тургенева в карикатур-  
 ном изображении революционной молодежи. Достоевский гово-  
 рит: „Ну, и досталось же ему за Базарова, беспокойного  
 и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря  
 на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину,  
 за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из  
 русской действительности...“ (Стр. 79-80). Достоевский  
 выделяет нигилиста Базарова из числа самодовольных „бес-  
 почвенников“, считает его беспокойство и тоску признаком  
 великого сердца. Ибо Достоевский ненавидит всякое самодо-  
вольство.

Он отказывает русской демократической литературе в  
 „праве обличения“ пережитков народного варварства, посколь-

ху образованное сословие усвоило вместе с цивилизацией  
иные, новые «предрассудки и мерзости».

Впрочем, он извиняется перед читателем, что слишком  
скоро перепрыгнул от дедов к внукам. В промежутке был Чац-  
кий, это не наивно-плутоватый дед и не самодовольный по-  
томок. «Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской  
Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взываю-  
щий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший  
опять в Европу...» (Стр. 82). Заметим, кстати, что Чацкий  
— это литературный тип, близкий реально существовавшему  
типу дворянского революционера. Высказывая свои заветные  
мысли, Достоевский говорит, что новый Чацкий скоро явится  
«победителем, гордым, могучим, кротким и любящим». (Стр.  
82). «Он теперь в новом поколении переродился... Он вер-  
нется в Россию и найдет, что делать, и станет делать». Новый  
переродившийся Чацкий — первый в послекаторажком  
творчестве Достоевского эскизный набросок «положительно  
прекрасного человека». «Этот человек уже родился... но  
об этом после», — вскользь бросает Достоевский (стр. 83).  
Это «после» затянулось на пять лет: вплоть до появления  
романа «Идиот».

Достоевский возвращается к современным ему образо-  
ванным русским людям, любящим Запад и в крайнем случае  
уезжающим туда. «Поколение Чацких обоего пола после бала  
у Тамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось  
там подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь  
из Москвы туда они все поехали. Сколько там теперь Репети-

ловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправлен-  
ных к водам за негодностью". (Стр. 83). Сдин лишь Молча-  
лин остался дома: он в Петербурге, он преуспел, он теперь  
не молчит - "напротив, только он и говорит". (Стр. 84).  
Достоевский прозрачно намекает: в России подлецы у власти.

С этой литературной ассоциацией (новое положение ге-  
роев "Горя от ума") из темы русской беспочвенности выделя-  
ется тема "заграничных русских", позже развитая Достоевским  
в романе "Игрок". "Все они ходят с гидами и жадно бросаю-  
тся в каждом городе смотреть редкости и, право, точно по  
обязанности, точно службу продолжают стечественную..."  
(Стр. 84). Этот пассаж напоминает цитированный выше рас-  
сказ Страхова о Достоевском за границей, о его презрении  
к общепринятой манере путешествовать. Далее автор "Зимних  
заметок" говорит, что русские, едва перелезав границу,  
тотчас становятся "разительно похожи на тех маленьких нес-  
частных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина".  
(Стр. 85). Достоевского болезненно раздражает тупая при-  
ниженность русских за границей. Его эксцентричный протест  
против преклонения перед европейской цивилизацией вырази-  
лся в целом ряде ситуаций и диалогов романа "Игрок".

Процитированные фрагменты фельетона 1863 г. удачно  
дополняет одно из поздних писем Ф.М. Достоевского - письмо  
Аполлону Майкову от 15 мая 1869 г. (из Флоренции). Востор-  
гаясь историческими балладами Майкова, Достоевский делится  
собственными литературными мечтами на аналогичные темы и  
говорит, что пошел бы далее: до Екатерины, до крестьянской  
реформы, до бояр, рассыпавшихся по Европе с последними

кредитными русскими, до Сирь, слудяних с Бортезанин, до семинаристов, проповедующих атеизм и т.д. Здесь он сплать сваливает в одну кучу революционероу и выходящиеся дворянство, с грубой небрежностью объединяя всех своих врагов под одной якобы общей чертой: антинациональность, беспочвенность. Но тон письма 1869 года намного резче, чем в „Зимних заметках“, и это объясняется не только частным характером высказывания. В фельетоне мы видим скрытое недовольство полжизнем в России и надежду на молодое поколение, на „переродившегося Чацкого“, на „тоскующего“ Базарова; религия и атеизм в 1863 году еще мало занимают Достоевского, и его размышления о России носят еще относительно спокойный характер.

Попытаемся обобщить проделанный нами анализ. „Зимние заметки о летних впечатлениях“ — памфлет против буржуазной цивилизации, где Запад отождествляется с капитализмом. Антитеза Запада и России разворачивается в основном в морально-психологическом плане, причем доказывается моральное превосходство русского народа с его органическим обилием братского над собственнического, эгоистической натурой западного человека. Законом личной выгоды противопоставляется высший закон свободной личности — закон любви, доходящий до самоотречения. Утопия Достоевского, его этический социализм, противопоставляется „материалистическому“ социализму западных теоретиков, в том числе фюреризму и кабетизму. Достоевский все более склоняется к идеалистическому утверждению, что нравственным фактором определяется исторический процесс. В связи с этим все большее значение для него начинает приобретать проблема свободы воли, тогда как

проблемы материальной организации отбрасываются писателем.

В «Зимних заметках» приглушенно звучат первые нападки на философию рационализма, на теорию разумного эгоизма, на социалистический «муравейник» — общество с разумным ограничением свободы личности. Это уже предвещает «Записки из подполья». Личность и общество для автора «Зимних заметок» — равноправные партнеры.

Утопия Достоевского крайне туманна и отодвинута в неопределенное будущее. Этот разрыв между идеалом и необходимостью практического действия явится в дальнейшем одним из главных пунктов философской озабоченности Достоевского.

Достоевский отстаивает право и обязанность гуманиста пробуждать совесть своих современников, нести им самую жестокую и страшную правду; он обосновывает свой прием «болевого эффекта».

Наряду с сильнейшим влиянием Герцена в «Зимних заметках» появляются сговорки в пользу славянофилов. Продолжая пронозировать над «московской затеей», автор в то же время признает глубокое основание славянофильства. Достоевский приближается к славянофилам, в частности, к Константину Аксакову, в признании решающей роли религиозно-нравственного фактора в историческом процессе. Однако в момент соавторства «Зимних заметок» Достоевский пока еще продолжает обходить молчанием чисто религиозные проблемы.

Выступая против буржуазной цивилизации, Достоевский доходит до отрицания цивилизации вообще. Он противопостав-

идет ей нормальное, истинное развитие — русский путь, основанный на высших нравственных качествах русской нации. Россия — исключительное явление в истории человечества: эта идея приведет его впоследствии к идее «народа-богослова», спасителя других народов Европы.

Белого критикуя буржуазную мораль, Достоевский особенно яростно нападает на всякую самодовольность и самодовольство, которое он отмечает и у французского буржуа, и у английского епископа, и у русского прогрессиста. Спокойная совесть вызывает ненависть у Достоевского, и он прибегает к своему постулату вечного искания, прославляет беспокойство сознания личности.

Порицая беспочвенность обреченного общества России, он верит в близкий приход переродившихся Чацких, кротких и любящих, которым предстоит активно вмешаться в русскую жизнь.

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» мы усматриваем момент непосредственного перехода от социальной проблематики к проблематике по преимуществу этической.

### II.

В то время, когда Достоевский только еще писал «Зимние заметки о летних впечатлениях», в России начались события, которым предстояло сыграть очень важную роль в творческом развитии писателя. В ночь на 23 января 1863 года вспыхнуло восстание в Царстве Польском: отряды повстанцев одновременно напали на русские гарнизоны и некоторые из них разгромили. Царское правительство двинуло войска на подавление восстания.

Польша восстала против царского самодержавия тогда, когда революционная волна в России уже шла на убыль. Хотя прогрессивное, революционно-демократическое крыло русской интеллигенции сочувствовало польскому восстанию, революционная пропаганда в пользу него не имела успеха. Кроме спада революционной ситуации в России этому способствовали и внешние факторы.

Прежде всего, в самом революционном правительстве Польши - в Центральном национальном комитете («Жонд народов») не было единства. Руководство в нем постепенно захватили польские магнаты и крупная буржуазия, сорвавшие проведение демократических реформ. Эта партия (так называемое «белые»), в отличие от польских революционеров, стремившихся к единому фронту с русской демократией, питала надежды на помощь Наполеона I. Бонапартистские традиции в Польше были очень сильны, и в надежде на помощь французских штыков Жонд народов выдвинул программу восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года (до первого раздела), что означало присоединение к Польше некоторых земель, населенных белорусами и украинцами. Эти требования вызвали протест даже у русских демократов, сочувствовавших восстанию.

Однако главной причиной резкого поворота в русском общественном мнении явились не требования Жонда, а дипломатический шантаж западноевропейских держав. Передовые люди Запада (Гарибальди, Мацини), русские эмигранты во главе с Герценом и Бакуниным, авангард европейского пролетариата во главе с Марксом и Энгельсом горячо сочувствовали польскому восстанию. Используя этот общественный

подъем, при вительства Англии и Франции начали разжигать антирусскую кампанию в официальной прессе, повели дипломатическое наступление на Петербург и превратили израненную Польшу в объект спасной политической игры.

В апреле 1863 года правительства двух великих держав Запада направили в Петербург ноты с требованиями независимости Польши и рассмотрения польского вопроса на новом европейском конгрессе. Зимний дворец ответил отказом, но обещал польским повстанцам амнистию, если они в условленный срок сложат оружие. Тем временем на подавление восстания была брошена трехсоттысячная русская армия, включавшая даже гвардейские полки. В мае Франция и Англия обратились к России с новыми нотами, еще более резкими и угрожающими. На какое-то время содалось впечатление, что России угрожает повторение Крымской войны, на сей раз - не по инициативе России. Поскольку объектом спора, кроме Царства Польского, становились украинские и белорусские области и поскольку угрожающая позиция Парижа и Лондона содержала как бы скрытый намек на поражение России семь лет тому назад, официальная пропаганда царского правительства сумела сыграть на патристических чувствах России. В стране начался мощный подъем националистических настроений, и эта волна захватила не только шовинистов.

С разных концов страны в Петербург направились адреса, заявления, резолюции, которые требовали отклонения вызывающих нот Наполеона III и лорда Росселя. Собирались по подписке деньги на госпитали для русских солдат, раненых в боях с польскими повстанцами. В армию посылались

идеи и поддержки. Большая часть русской прессы радовалась этому националистическому утар. Но те, кто молчал, задумывались о своем месте в случае нападения Франции и Англии.

В этот момент один только Герцен, по выражению Ленина, «спас честь русской демократии».<sup>1)</sup> Он еще раньше писал о несвоевременности восстания в Польше, но когда оно началось, Герцен безоговорочно встал на защиту польской свободы. Он в своем «Колоколе» публично «высек» И.С.Тургенева за его слезливое покаяние и демонстрацию лояльности — дерзкое пожертвование в пользу христолюбивого русского воинства. И кампания «Колокола» не была безрезультатной: лучшие люди России сочувствовали борьбе поляков за независимость и свободу. Но те из них, кто выступил в поддержку польского восстания, погибли почти сразу же; остальные, и их было немного, только сжимали кулаки в бессильной ярости. План восстания внутри России провалился. Народ не поддержал маленькую кучку революционеров.

В начале 60-х годов «Колокол» Герцена расходился в 2.500 экземплярах. В 1863 г. его продажа упала сразу до пятисот экземпляров. Герцен объяснил это своими статьями в пользу поляков. Одновременно с упадком герценовского влияния вошла двусмысленная звезда Михаила Каткова, либерала-англофила, знаменитого политического ренегата. В 1859 г. в Лондоне он лично встречался с Герценом и говорил ему, что «Колокол» — власть, а спустя три года обвинил уже «лондонских агитаторов» в поджигательстве. В 1862 г. Катков получил в аренду официальную газету «Московские ве-

1) В.И.Ленин. Соч., т. 18, стр. 13.

демократии" с доходом от казенных объявлений и тем самым вступил в прямые денежные отношения с правительством. С 1 января 1863 г. газета выходила под его редакторством.

Когда началось польское восстание, Катков сначала отнесся к нему довольно спокойно. Вскоре он понял, что происходят крупные события, на которых можно заработать новый политический капитал. Он стал публиковать в своей газете шумные статьи, взывая к патриотическим чувствам русского народа и в то же время демагогически требуя «не поделения польской народности, а призывания ее к новой, общей с Россией политической жизни». Но вот в апреле прогремели первые ноты западных держав, и к подножию русского трона посыпались «всеподданнейшие адреса». Колебания нерешительного Александра II кончились, Муравьев-Вешатель был назначен генерал-губернатором в Вильно. Тогда Катков сменил тон и начал знаменитую серию статей по польскому вопросу, в которых требовал беспощадных репрессий против повстанцев. При этом он прославлял деятельность Муравьева и обвинял Герцена и его сторонников в предательстве. Вульгарно-доходчивые, яростные, грубые статьи Каткова имели огромный успех среди обывательской массы. Для передовых или даже более умеренных органов печати борьба против Каткова по польскому вопросу была невозможна. Катков задал тон всей русской прессе. Переход колеблющегося большинства «образованного общества» от Герцена к Каткову был ярким выражением общественной реакции, наступившей в России.

Свой «диктатор общественного мнения» воспользовался

напряженной атмосферой в России для расправы со своими конкурентами. «Современник» после восьмимесячного перерыва начал выходить вновь, уже без Чернышевского, и старался не подавать повода к репрессиям, выражая свое отношение к польским делам в основном молчаливым. Но оставалось еще весьма популярное «Время», в полемике с которым Катков прежде всегда терпел поражения. И этот второй конкурент позволил себя «зацепить».

В апрельском номере «Времени» за 1863 год появилась статья Страхова «Роковой вопрос», наполненная отвлеченными рассуждениями о духовной непримиримости России и Польши. Особенности изложения и притворно объективный тон Страхова делали статью не вполне ясной. Этим и воспользовался Катков: «Московские ведомости» поместили своего рода «открытый донос» на журнал «Время», обвинив его в полонофильских настроениях. Впоследствии Катков согласился даже исправить недоразумение и восстановить «политическую репутацию» Страхова, но он сделал это *post factum*, когда журнал братьев Достоевских был уже запрещен высочайшим повелением от 24 мая 1863 года.

Эта катастрофа разразилась над братьями Достоевскими, как гром среди ясного неба, и привела их в полную растерянность. В письме к Тургеневу от 17 июня 1863 г. Ф.М. Достоевский признает, что запрещение журнала случилось неожиданно для его редакторов. «Тут было столько возни, тоски и прочего, очень дурного...»<sup>1)</sup> Видимо, они боялись

1) Письма, т. 1, стр. 317.

репрессий; Страхов вспоминает, что спасался высылки из Петербурга. Перед Достоевским вновь маячили жуткие призраки голубых мундиров. Лето прошло в лихорадочных условиях исправить положение, спасти журнал, оправдаться.

Вы<sup>ше</sup>/мы уже говорили о том, что Достоевский после Сибири испытал сильнейшее влияние революционной ситуации в России. Он внимательно следил за всеми выступлениями Добролюбова и Чернышевского, привлек к сотрудничеству во «Времени» Некрасова, Щедрина и Помяловского, защищал «Свисток», вел подлинную войну против Каткова и Аксакова, увлечение<sup>но</sup> читал Герцена. Затем настали крутые времена: пожары, аресты, ссылки, крушение надежд. Перелом, происшедший в 1862 году, был слишком резок. Разрыв с «Современником», обострение полемики между почвенниками и демократами толкало Достоевского в объятия неославянофилов — Страхова и Григорьева. Отвращение к западной цивилизации глубоко вошло в сознание Достоевского. Его моралистическая проповедь, кафедрой для которой служил журнал, не доходила до сердец современников. И вот 24 мая 1863 г. тот самый Александр Освободитель, на которого писатель возлагал величайшие надежды, своей державной рукой отнял у Достоевского последнюю возможность участия в бурной жизни великой страны. Удар был тяжелым. С этого момента отчетливо определяется второй идейный кризис Достоевского.

Первое свидетельство второго кризиса — упомянутое письмо Тургеневу в Баден, важнейший документ, который заслуживает детального изложения.

В начале письма Достоевский оправдывается: он не смог ответить вовремя на письмо Тургенева с деловой просьбой (от 13 мая 1868 г., из Бадена). Причины неаккуратности Достоевского — запрещение «Времени», возня, тоска и прочее, «очень дурное»: может быть, боязнь репрессий или унижительные свистения с врагами (Страхов писал Каткову и Ивану Аксакову); далее, болезнь Марии Дмитриевны, ее переселение в Москву; наконец, «серьезная и довольно долгая болезнь» самого автора письма.

Далее он излагает историю запрещения «Времени». «Вы знаете направление нашего журнала: это направление по преимуществу русское и даже антизападное. Ну стали бы мы стоять на поляков?»<sup>1)</sup> Достоевский говорит, что считает «Роковой вопрос» статьей в высшей степени патристической, но «неловкости изложения» дали повод «ошибочно перетолковать ее». «Но мы понадеялись на презреое и известное в литературе направление нашего журнала, так что думали, что статью поймут...» Он передает Тургеневу основные мысли статьи Страхова. Выражает надежду скоро увидеть своего корреспондента в Бадене. «Я пропущу за границу и имею надежду, что поеду. Я очень болен падучей, которая все усиливается и приводит меня даже в отчаяние. Если бы Вы знали, в какой тоске бываю я иногда после припадков по целым неделям! Я собственно еду в Берлин и в Париж... единственно для того, чтоб посоветоваться с докторами-специалистами по падучей болезни».<sup>2)</sup> Отчаяние, тоска, усиление падучей —

1) Там же, стр. 317.

2) Там же, стр. 318.

все это очень важные приемы. Странно не будем забывать, что Достоевский умолчивает об одной детали: путешествие по Западной Европе он совершает предпринять в обществе молодой и красивой женщины, (дочери г-жи Пискофьевны Сусловой, с которой он связан самыми близкими отношениями.

Достоевский печально сообщает Тургеневу о невозможности для бывших издателей "Времени" удовлетворить денежную просьбу писателя. Но интереснее всего заключение письма:

"Не знаю, будет ли война, но вся Россия, во вся, общество и даже весь народ настроен патристически, как в 12-м году! Это без преувеличения говорю. Движение величественное. Что бы ни было, а Европа не звет нас хорошо. Это спротивное замское движение".<sup>1)</sup>

По иронии случая, Достоевский вольно или невольно цитирует здесь Герцена: "Европа нас не звет" - слова из книги "С того берега", которую в 1862 г. он хвалил ее автору во время лондонской встречи. Но смысл письма Достоевского - прямо антигерценовский: растерянный, подавленный несчастием, он был захвачен волной националистических чувств, он покорился газетной кампании, приняв ее <sup>(за)</sup> волеизъявление народа. Гард встает против Запада, против поляков, против революционеров - такова было основное впечатление Достоевского от событий 1863 года. И так как народ был великим авторитетом для него, он больше не мог оставаться на позициях идеологического компромисса.

1) Там же, стр. 318.

Польское восстание вызвало резкое размежевание в русской интеллигенции. В Петербурге на представлениях оперы Глинки «Жизнь за царя», когда начались польские танцы, прежде счесть популярные, с блестящим Феликсом Ялесинским в первой паре мазурки, националистически настроенная публика свистом, шиканьем и криком заставила прервать спектакль и спустить занавес. Но в том же Петербурге молодежь, невосприимчивая к пропаганде Каткова, на какое-то время сделала своим излюбленным головным убором польскую кофедератку. «Казанский заговор» в поддержку польского восстания был выдан предателем: пятерых заговорщиков расстреляли, остальные пошли на каторгу. И все же трагедия Польши продолжала вызывать сочувствие. Петербургский губернатор граф Суворов назвал Муравьева — Вешателя «людоедом», что вызвало желчную отповедь Тютчева («Гуманный внук воинственного деда...»). Великий поэт в этом стихотворении прославлял Муравьева как национального героя.

Это размежевание оказалось пагубным для Достоевского: с 1863 г. он становится полонифобом. В «Мертвом доме» мы видим порою уважение к мужеству польских ссыльных; начиная с 1863 г. писатель говорит о поляках только с ненавистью и презрением. Но крайняя политическая острота вопроса привела еще к тому, что русский патриотизм был ложно противопоставлен социализму. Готы западных держав и реальная угроза войны сыграли роковую роль в повороте общественного мнения к поддержке пр вительства. Достоевский был захвачен этой волной. Быть социалистом означало сочувст-

говать Польше: социализм выглядел «непатриотичным». Национальные чувства противоборствовали идеям социализма; из равнодушия русского народа к этим идеям Достоевский сделал ложное заключение о том, что социализм враждебен русскому народу. Это была роковая мысль: «СОЦИАЛИСТЫ — ВРАГИ РОССИИ». Мысль Каткова, Погодина, Скарятин. Она в тот год еще не стлилась у Достоевского в столь категорической форме, однако он встал на путь к этому, стал приближаться к антитезе: «ложь революции» — «русская правда» (слова И.С. Аксакова). Достоевский в 1863 г. уже лично участвует в полемике против «Современника».

Но мог ли Достоевский, человек, переживший свой собственный расстрел, сочувствовать «работе» Муравьева? Голос его совести роптал и подсказывал доводы против новообретенной «русской правды» со всеми ее виселицами.

В таком состоянии духовного смятения, заняв тысячу рублей в Литературном фонде, Достоевский в августе 1863 г. выехал во второе заграничное путешествие. Аполлинария Прокófьевна Суслова ждала его в Париже, куда он прибыл 26 (14) августа. Дорогой с ним случился «легкий припадок». <sup>1)</sup> Он видел, проезжая через Польшу, внешнее спокойствие края; однако солдаты дежурили на каждой станции. Удивительно, что спеша к любимой женщине, Достоевский все же задержался на четыре дня в знаменитом курортном городке Висбадене, куда собирались со всей Европы праздные богачи и рыцари легкой наживы. Здесь он играл в рулетку, мечтая выиграть

1) С путешествия 1863 г. см. Письма, т. 1, стр. 321-335.

его тысяч франков. Вначале ему крупно повезло, он выиграл более десяти тысяч, но затем проиграл половину. Тем не менее, оставшиеся 5.000 франков были крупной суммой (свыше 1000 рублей), и она оказалась той приманкой, которую демон игры подоросил Достоевскому.

В Париже его ожидал тяжелый удар: "Ты приехал слишком поздно", — такими словами встретила его Аполлиария Суслова. Она влюбилась в молодого красивого студента из богатой испанской семьи (местами в своем дневнике Суслова называет его "Плантатором"). Достоевский был потрясен. Судя по всем данным, какими располагают биографы Достоевского, его чувство к Сусловой было самой сильной страстью этого вообще страстного человека. Так думает, в частности, Л.П. Гроссман. Это была женщина необузданных порывов, с очень высокими требованиями к людям, сильная, независимая и всегда поступавшая несжданно. Вскоре после приезда Достоевского она пришла утром к нему в отель, разбудила его и просила его совета: Полина решила убить своего молодого красивого любовника, который бросил ее. После ее ухода Достоевский поспешно оделся и поехал к ней. Она уже успокоилась, встретила его улыбаясь, с булочкой в руке, и они вместе позавтракали. Что до любовника, Полина говорит Достоевскому: "Я его не хотела бы убить, но мне бы хотелось его очень долго мучить!" 1)

Таков был характер А.П.Сусловой. Достоевский часто называл ее Полиной. Несомненно, многие черты ее он придал

---

1) А.П.Сусл<sup>ов</sup>, "Годы близости с Достоевским", М., 1928 г., стр. 55.

образу Полины в романе «Игрок» и в меньшей степени — другим известным героиням его больших романов. Позже А.П.Суслова была женой В.З.Розанова, который сравнил ее с Екатериной Медичи и с хлыстовской «богородицей». Аполлинерия довергла своего бывшего возлюбленного утонченным душевным пыткам, но в результате страсть Достоевского только возрастала.

Один эпизод этого мучительного романа заслуживает внимания. Полина Суслова осталась когда-то должна пятнадцать франков своему испанцу. Теперь она, в своем озлоблении, под которым, очевидно, еще тлеет любовь, превращает эту жалкую сумму в целую моральную проблему. По своему обыкновению, она посоветовалась с Достоевским и затем послала молодому испанцу эти пятнадцать франков со специальным письмом, составленным в высокопарных и надменных выражениях: «Милостивый государь, однажды я позволила себе получить от вас услугу, за которую обычно платят деньгами. Я думаю, что можно получать услуги только от людей, которых считаем за друзей и которых уважаем...» — т.д. Ослепление любви денежными счетами — один из самых излюбленных счетных мотивов зрелого Достоевского, начиная от «Записок из подполья» и кончая «Братьями Карамазовыми»: Лиза выбрасывает на стол подпольному человеку сытую синенькую ассигнацию; Полина швыряет в лицо «игроку» двенадцать пять тысяч флоринов; Настасья Филипповна, предмет торга Тоцкого, Гани Иволгина и Рогожина, бросает в огонь сто тысяч рублей... Может быть, все эти сцены обязаны своим рождением

образу Полины в романе "Игрок" и в меньшей степени - другим неистовым героиням его больших романов. Позже А.П.Суслова была женой В.В.Розанова, который сравнил ее с Екатериной Медичи и с хлыстовской "богородицей". Аполинерия подвергла своего бывшего возлюбленного уточненным душевным пыткам, но в результате страсть Достоевского только возрастала.

Один эпизод этого мучительного романа заслуживает внимания. Полина Суслова осталась когда-то должна пятнадцать франков своему испанцу. Теперь она, в своем озлоблении, под которым, очевидно, еще тлеет любовь, превращает эту жалкую сумму в целую моральную проблему. По своему обыкновению, она посоветовалась с Достоевским и затем послала молодому испанцу эти пятнадцать франков со специальным письмом, составленным в высокопарных и надменных выражениях: "Милостивый государь, однажды я позволила себе получить от вас услугу, за которую обычно платят деньгами. Я думаю, что можно получать услуги только от людей, которых считаем за друзей и которых уважаем..." - т.д. Ослепление любви денежными счетами - один из самых излюбленных сюжетных мотивов зрелого Достоевского, начиная от "Записок из подполья" и кончая "Братьями Карамазовыми": Лиза выбрасывает на стол подпольному человеку смятую синенькую ассигнацию; Полина швыряет в лицо "игроку" двадцать пять тысяч флоринов; Настасья Филипповна, предмет торга Тоцкого, Гани Иволгина и Рогожина, бросает в огонь сто тысяч рублей... Может быть, все эти сцены обаяны своим рождением.

эпизоду из биографии Аполлинару Сусловой", отославшей 15 Френкс обманувшему ее человеку.

Достоевский просил ее ехать с ним в Италию, обещая вести себя, как брат. После некоторых колебаний Полина согласилась. Они отправились окольным путем, и в Висбадене Достоевский вновь устремился к рулетке. Это был сентябрь 1863 г. Достоевский «проигрался до тла», ему пришлось обратиться за деньгами к родственникам в Россию.

Совместное путешествие Достоевского и Сусловой было необычным. Он тщетно пытался вернуть любовь Полины, она же мстительно играла его чувствами, то отталкивая, то привлекая его. 8 (20) сентября 1863 г. он писал из Турина М.М. Достоевскому: «Разных приключений много, но скучно ужасно, несмотря на А.П. Тут и счастье принимаешь тяжело, потому что отделился от всех, кого до сих пор любил и по ком много раз страдал. Искать счастье, бросив всё, даже то, чему мог быть полезным, — эгоизм, и эта мысль отравляет теперь мое счастье (если только есть оно в самом деле)». 1) В последних словах, устыдившись своей неискренности, Достоевский делает брату полупризнание. Поездка не удалась, никакого счастья нет, и он уже опять говорит о своей тоске. В том же письме он рассказывает о встрече с Тургеневым в Бадене: «Тургенев А.П. не видал. Я скрыл». Но он не стал прятать Аполлинару Прокофьевну от Герцена, которого встретил в начале октября в Неаполе. Он представил ее как родственницу, весьма неопределенно: Мария Дмитриевна была еще жива, приходилось остерегаться огласки.

1) Письма, т. 1, стр. 330.

Достоевский провожал Герценов до Ливорно и был у них в гостинице. На корабле во время этой поездки Суслова увлеченно беседовала с сыном Герцена и, заметив ревность Достоевского, подговаривала его к себе, что его сильно обрадовало. Она по-прежнему продолжала свою бесчестную игру.

А.С.Долинин говорит, что во время этого путешествия Суслова проявила в отношениях с Достоевским „утонченность мучительства“. Это „сказывается, в сущности, уже в самом согласии ее на совместную поездку с Достоевским“.<sup>1)</sup> Эта жгучая, странная, долгая агония их любви не могла не наложить свой отпечаток на Достоевского, на его настроения. Но, по нашему мнению, гораздо большее значение имела вся атмосфера путешествия.

Еще не перестала литься кровь в польских лесах, еще действовал Муравьев в Вильне, еще не затихла окончательно дипломатическая переписка России и Запада. В Европе царил ненависть к России. В основании ее лежали еще старые антирусские предрассудки, связанные и с наполеоновскими войнами, и с жандармскими интервенциями Николая 1, и с Крымской войной. „Тогда в Европе никто не сомневался, что в Петербурге и в Москве ходят по улицам медведи и что сейчас же за Эдкуненом начинается Сибирь. Понятно, что человек из такой страны не мог не возбуждать лобопытства и в то же время не мог стоять высоко во мнении культурных европейцев“,<sup>2)</sup> — говорит Шелгунов. Отношение к русскому царизму

1) А.С.Долинин, „Достоевский и Суслова“ в сборнике „Ф.М.Достоевский“, Л., 1925, стр. 205.

2) Н.В.Шелгунов. „Воспоминания“, М.-Л., 1923, стр. 88.

распространялось обычно на всех русских. "... Я чувствовал себя в Германии, - рассказывает тот же Целгунов, - в положении жертвы, на которую взымали ответственность за все русские прегрешения, за нашу историю, политику, просвещение, даже за наши снега и морозы".<sup>1</sup>

В 1863 году неприязнь западноевропейского большинства к России достигла апогея. Даже спустя четыре года, когда Александр II посетил Париж, во Дворце правосудия один молодой адвокат крикнул царю: «Да здравствует Польша!» - а польский эмигрант Березовский стрелял в царя; Сенский суд присяжных признал его виновным, но нашел смягчающие вину обстоятельства (1867 г.). Легко себе представить, какая обстановка окружила русских в Западной Европе в разгар «деятельности» Муравьева - Велателя. Естественно, что первыми выразителями ненависти к царской России были польские эмигранты.

Эта обстановка не могла не повлиять на Достоевского, не могла не вызвать в нем ответного озлобления. Он не только не чувствовал себя в «положении жертвы», не только не признавал никаких «русских прегрешений», напротив - он сам еще выше поднимал голосу, отказывая лицемерным и подлым французским буржуа, гордым англичанам, тупым и жадным немцам в праве судить русский народ. Его презирали как русско-го: он отвечал удвоенным презрением. Так, перед отъездом вместе с Сусловой из Парижа, визируя билеты в Италию, он учинил настоящий скандал в папском посольстве, который

1) Там же, стр. 90-91.

повзе описал в романе "Идиот". Именно с 1863 г. начинается ненависть Достоевского к полякам. Национализм Достоевского созревает окончательно и принимает резкую форму. В связи с этим он все более пересматривает свое отношение к славянофилам. В его письме к брату Михаилу из Турина от 8(20) сентября мы читаем: "Страхову кланяюсь особенно и всем, кому знаешь. Скажи Страхову, что я с прилежанием славянофилов читаю, и кое-что вычитал новое. Что Ап. Григорьев?"<sup>1)</sup> Здесь кроме "прилежного" чтения славянофилов обнаруживается особенное внимание к идеологам "почвы" - Страхову и Аполлону Григорьеву.

Правда, Достоевский остается верен себе. Его пересмотр отношения к славянофилам не означал капитуляции. Через десять дней он пишет Страхову из Рима: "Славянофилы, разумеется, сказали новое слово, даже такое, которое может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано. Но какая-то удивительная вистократическая сьтость при решении общественных вопросов".<sup>2)</sup> Это глубокое определение барской природы славянофильства свидетельствует о том, что социальная проблематика никогда не утрачивала для Достоевского своего огромного, первостепенного значения. Однако он предполагал, что решение общественных вопросов возможно лишь этическими средствами.

Вышеуказанное письмо Страхову из Рима от 18(30) сентября 1863 года раскрывает перед нами картину душевного состояния Достоевского, Все письмо продиктовано отчаянным

1) Письма, т. 1, стр. 331.

2) Там же, стр. 335.

материальным положением писателя: он просит Страхова достать для него денег в петербургских редакциях в виде аванса за рассказ, план которого излагает Достоевский. Интересно замечание Достоевского: «Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаю. Но так завелось и, кажется, никогда не выведется». <sup>1)</sup>

Далее он излагает план рассказа. «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Все это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека однакоже много развитого, но во всем недоконченного, изведившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает себя тем, что ему ничего делать в России, и потому жестокая критика на людей, возвущих на России наших заграничных русских. (...). Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буффство, смелость пошли на рулетку. Он — игрок, и не простой (...). Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя». <sup>2)</sup>

Достоевский обязуется сдать рассказ не позже 10 ноября, предполагает объем две печатных листа и просит 200

1) Там же, стр. 333.

2) Там же, стр. 333.

рублей с листа (в крайнем случае 150). «Вещь может быть весьма надурная. Ведь был же лобопытен Мертвый Дом. А это описание своего рода ада, своего рода каторжной «бани». Достоевский просит Стржковского предложить рассказ Боборыкину в «Библиотеку для чтения». Но если там не получится, то возможны другие варианты. Их обзор весьма лобопытен.

«Если нельзя кончить дело с Боборыкиным, то хоть в газеты, хоть в «Якорь» (поцелуйте за меня Ап. Григорьева), хоть во всякий другой журнал. Разумеется, не в «Русский Вестник», и по возможности избегая «Стечеств. Записок». Ради бога избегайте. Даже лучше не надо и денег. Даже можно в «Современник», хотя, может быть, там Салтыков и Елисеев подгадят. (А почему знать, я, может быть, грешу). Статья моя «Современника» наверно не изуродует. Во всяком случае можно обратиться прямо к Некрасову... И с ним решить дело. Это бы даже очень не дурно. Даже лучше «Библиотеки». Некрасов, может быть, не очень на меня сердит». <sup>1)</sup>

Итак, даже в начале своего второго идейного кризиса, уже склоняясь к славянофилам, уже вступив в полемику с «Современником» («Спать молодое перо», в мартовской книжке «Времени» за 1863 г.), Достоевский надеется уладить раздоры с демократами, еще не чувствует себя их врагом и, по сути дела, предпочитает «Современник» всем другим журналам. Отказ от примирительных тенденций происходил постепенно и трудно, Достоевский не хотел безвозвратно отделяться от демократического авангарда, не хотел сжигать своих кораблей и надеялся, что на него «не очень сердиты»

1) Там же, стр. 334-335.

Бекрасов, Салтыков-Щедрин и Елисеев.

Но замысел рассказа свидетельствует, что он вряд ли подошел бы для журнала "Современник". Общепризнано, что замысел рассказа глубже, чем выросший из него впоследствии роман "Игрок". Этот короткий, динамический, богатый действием и наглядными реалистическими картинками роман отличается от больших романов Достоевского относительно малой проблемностью, тогда как характер, торопливо обрисованный писателем в письме к Страхову, заключает богатейшие возможности постановки философских и этических проблем. В письме нарисован тип беспочвенника, человека во всем недоконченного, человека на распутье, человека с раворазной психикой. Это, по нашему мнению, тип растерявшегося равночинца, не находящего себе дела в пореформенной России. Он уже не верит в дело, предлагаемое ему Чернышевским, но еще не верит в дело, к которому призывают славянофилы. Это "большой вопрос летом в журналах", повсеместно, связан с публицистикой Ивана Сергеевича Аксакова. В своей газете "День" лидер славянофилов публиковал под псевдонимом "Касьянов" письма из Парижа, где яростно нападал на западную прессу и негодовал на заграничных русских, требуя, чтобы они вернулись в Россию, занялись трудом на благо родины, вместо того, чтобы кушать в парижских ресторанах. Достоевский сочувственно относился к этим призывам "Дня", и в изложении его нового сюжета ясно чувствуется неодобрение к людям, считающим, что в России "ничего делать". Проблема практического действия в это время

встала перед разночинцами с необычайной остротой: прекрасные надежды освободительной эры равнялись, перед Россией вырисовывались важные экономические задачи, начиналось развитие капитализма, а враждебные этому развитию массы демократической молодежи не могли найти себе места в новых условиях. На потребность практического действия отвечал знаменитый роман Чернышевского «Что делать?». Вождь русских революционеров звал молодежь готовиться к революции, приближать будущее, перенести из будущего в настоящее фаланстеры, коммуну, ассоциации. Славянофилы проповедовали труд, просвещение и возрождение моральной силы и единства допетровской Руси. Достоевский со своей расплывчатой моралистической программой и отчетливым неверием в разумную социальную организацию общества склонялся более к славянофилам, хотя и не вполне отдавал себе отчет в том, насколько далеко зашли его расхождения с лагерем «Современника».

Тип растерявшегося разночинца, не знающего, что делать, заявляющего, что «лучше ничего не делать», введен был Достоевским в «Записках из подполья». Замысел, который изложен в письме от 18(30) сентября, содержит в недифференцированном виде две идеи: «Записок из подполья» и «Игрока». Уже в замысле будущего «рассказа» мы видим, что идея «недоконченности» предстает как доминанта задуманного образа. Отвлеченная идея, извлеченная из атмосферы русского пореформенного похмелья, сталкивается с совершенно конкретным материалом действительности: с наблюдениями над «загранич-

ными русскими", оторвавшимися из России и губящими себя в отчаянных, точно от страха, развлечениях Висбадена и Парижа.

На обратном пути из Италии Достоевский<sup>1)</sup> вновь застревает в Висбадене, уже без Сусловой, и играет на рулетке. Он снова проигрывается, и по его просьбе Суслова высылает ему из Парижа 300 франков. В октябре 1863 г. Достоевский возвращается в Россию.

Печально закончилось второе заграничное путешествие Достоевского: он не нашел ни отдыха, ни счастья с Сусловой. Мечты обернулись горьким разочарованием. Рулетка обманула надежды Достоевского поправить его тяжелое материальное положение. Начинались тоскливые будни рядом с бевнадежно больной женой. Достоевский и сам болен, припадки у него опять участились.

Но для человека, подлинной жизнью которого было творчество, тяжелее всего, несомненно, было созвоние духовного тупика, обрекавшего писателя на бесплодие. Правда, журнал братьев Достоевских не был еще возрожден, и у Федора Михайловича не было в это время своей трибуны. Но ведь после Сибири он писал свои повести и „Записки из Мертвого дома“, не рассчитывая на собственный печатный орган, тогда как в 1863 г. после „Зимних заметок о летних впечатлениях“, которые не являлись художественным произведением, он не создал почти ничего. Последним его художественным произведением был „Скверный анекдот“, мрачная эпитафия минувшему периоду общественного подъема в России.

Годы 1862-1863 явились для Достоевского временем разочарования. В душе писателя нарастали чувства пессимизма, горечи и тоски. Позиция всеобщего примирителя оказалась невозможной, так же как и само примирение. В 1863 году начался идейный кризис Достоевского, который и привел к скончательному перерождению убеждений.

Эта мысль не является чем-то абсолютно новым в советском литературоведении. Некоторые исследователи, как, например, Л.М. Розенблюм, говорят о начале 60-х годов как о «переходном периоде» в творчестве Достоевского. В.Б. Александров высказывается еще определеннее, говоря о «реакционном решении» писателя:

«Оно вырабатывается примерно в 1864-1867 годах; переход от «раннего» Достоевского к «позднему» именно здесь; годы пребывания на каторге — только преддверие». 1) Александров совершенно правильно указывает, что выработку «реакционного решения» нельзя объяснить автоматическим приспособлением Достоевского к наступившей реакции. По мнению Александрова, «Достоевский меняет свои взгляды... во-первых, в связи с развитием своего антибуржуазного мотива и, во-вторых, потому, что все больше убеждается в разединенности образованного общества и народа». 2) Это совершенно правильно: первую идею выражают «Зимние заметки о летних впечатлениях», на второй целиком строится «Скверный анекдот».

А.С. Долинин в своей вступительной статье к дневнику

1) В. Александров, «Люди и книги», М., 1956, стр. 82.

2) Там же, стр. 83.

и письмам Сусловой давно уже отметил резкую перемену в настроениях и взглядах Достоевского приблизительно в конце 1863 года.<sup>1)</sup> Увлеченный открытием дневников Сусловой, новой и яркой страницы биографии писателя, исследователь выдвинул тогда предположение о том, что перемена в Достоевском объясняется его трагическим роменом с Аполлиinarieй Сусловой, их мучительными и страшными отношениями в то мрачное лето. Скептично, эта мысль Долинина страдает преувеличенностью.

Известный американский руссисст Эрнест Симмонс также считает, что 1864 год, год появления „Записок из подполья“, принес изменение взглядов Достоевского. В своей книге «*Dostoevsky. The Making of a Novelist*» (первое издание в 1940г.) Симмонс пишет:

„Критики часто разделяют его творчество на произведения, написанные до и после каторги, и часто делается утверждение, что между повестями и романами этих двух периодов нет связи или существует слабая связь“. Симмонс считает, что до 1864 г. развитие Достоевского шло непрерывно. Более того, по мнению американского ученого, определенные „константы“ прослеживаются во всем творчестве от начала до конца. Далее говорится:

„Если все творчество Достоевского вообще может быть разделено на периоды, то разделяющей датой должен быть 1864 год, когда были опубликованы „Записки из подполья“ (...). Параллельно этому изменению произошел, в этот же

1) А.Т.Суслова, „Годы близости с Достоевским“, М., 1928, вступит. статья А.С.Долинина.

самый момент, резкий сдвиг от либерализма "Времени", который он более или менее сохранял от дней своей молодости, к консерватизму "Эпохи". Трудно определить основные причины изменения, но, несомненно, события его жизни в 1861-1863 гг., в частности его первое заграничное путешествие, роман с Полиной Сусловой, смерть его жены и брата, были способствующими факторами".<sup>1)</sup>

Симмонс в силу ограниченности его метода не может подняться выше второстепенных факторов кризиса Достоевского. В настоящей работе делается попытка понять именно основные причины перехода Достоевского к новым взглядам и новому художественному методу. Выше уже говорилось об этих причинах. Первая из них, конечно, спад революционной ситуации в России.

Это не значит, что Достоевский, напуганный реакцией, трусливо перебежал на сторону сильных. Отнюдь нет. Но конец революционно-демократического подъема превратился для него в личную катастрофу: мирное «слитие образованности с началом народным» оказалось наивным до смешного благим пожеланием, уничтоженным кровавой и грубой реальностью. Достоевский испытал отчаяние и растерянность, он начал искать виноватых, и это «следствие» в «Скверном анекдоте» приводит к обвинению генеральского либерализма, революционной журналистики, низкого и корыстного мещанства. Мечта о счастливой России внезапно отодвинулась в далекое будущее, и никакой прямой дороги к этому будущему, никакой

1) «Dostoevsky. The Making of a Novelist» by Ernest J. Simmons, N. Y., 1962, pp. 120-121.

материально всаможности Достоевский не видел.

Спад революционной ситуации в России знаменовался «идейным разбродом» среди интеллигенции, подобный которому, в неизмеримо больших масштабах, повторился после поражения первой русской революции. Настроения растерянности, скептицизма, тоски, отчаяния проникли в среду разночинцев. В условиях жестоких репрессий революционное деяние представлялось неважможным; замедленное развитие капитализма, экономический кризис первых пореформенных лет, солдефонская университетская политика правительства привели к массовой незанятости молодой русской интеллигенции, к излишку образованных людей. Перед разночинцами встала проблема непосредственного действия, проблема личного выбора, а в более обобщенной форме — проблема новой морали. Силы молодого поколения просили дела, режим толкал их к приспособлению, к службе, к политическому ренегатству. Многие образованные люди тех лет испытали жесточайшую внутреннюю борьбу, в истории русской литературы известны примеры «принципального алкоголизма» Н.Г.Помяловского, тяжелых шатаний Н.С.Лескова, морального падения и самоубийства Николая Успенского, гнуснейшего ренегатства Всеволода Крестовского и т.д. Эта всеобщая деморализация русской интеллигенции не затронула лишь наиболее решительное и мужественное революционное крыло, однако и в нем после ударов реакции наступило известное замешательство и появились разногласия.

Все это не могло не влиять на Достоевского, и он перестает связывать свои надежды с демократическим обществом.

материальной всезможности Достоевский не видел.

Спад революционной ситуации в России знаменовался идейным разбродом среди интеллигенции, подобный которому, в неизмеримо больших масштабах, повторился после поражения первой русской революции. Настроения растерянности, скептицизма, тоски, отчаяния проникли в среду разночинцев. В условиях жестоких репрессий революционное деяние представлялось невозможным; замедленное развитие капитализма, экономический кризис первых пореформенных лет, солдатская университетская политика правительства привели к массовой безработице молодой русской интеллигенции, к излишку образованных людей. Перед разночинцами встала проблема непосредственного действия, проблема личного выбора, а в более обобщенной форме — проблема новой морали. Силы молодого поколения просили дела, режим толкал их к приспособлению, к службе, к политическому ренегатству. Многие образованные люди тех лет испытали жесточайшую внутреннюю борьбу, в истории русской литературы известны примеры «принципиального алкоголизма» Н.Г.Помяловского, тяжелых шатаний Н.С.Лескова, морального падения и самоубийства Николая Успенского, гнуснейшего ренегатства Всеволода Крестовского и т.д. Эта всеобщая деморализация русской интеллигенции не затронула лишь наиболее решительное и мужественное революционное крыло, однако и в нем после ударов реакции наступило известное замешательство и появились разногласия.

Все это не могло не влиять на Достоевского, и он перестает связывать свои надежды с демократическим общест-

тельным движением, которому явно сочувствовал в 1861 году.

Н.Н.Страхов в своих «Воспоминаниях» говорит: «Следующий год, 1863-й, был важною эпохой в нашем общественном развитии. В начале января вспыхнуло польское восстание и привело наше общество в великое смущение, разрешившееся крутым поворот некоторых мнений». Далее он выражается определеннее: «После величайшего прогрессивного опьянения наступило резкое отрезвление и какая-то растерянность.<sup>1)</sup>

Скабичевский списывает зиму 1862-1863 года: «Замечательно, что, несмотря на все ужасы бунтов, пожаров и польского восстания, все пустились в какое-то бешеное веселье. Города горели, крестьян поролы и расстреливали, поляков вешали и тысячами ссылали в сибирские тундры, а Петербург пил, пел и плясал». <sup>2)</sup>

Известный публицист «Современника» Г.З.Елисеев в одной не опубликованной при его жизни рукописи восхвалял «русскую литературную богему» — рядовых участников демократического движения, добровольцев журнальной борьбы. «Литературная богема» 60-х гг., — писал Елисеев, — была в цвете и полной силе до начала 1863 г., потом года два, три оставались еще эпигоны, а потом совсем вымерла». <sup>3)</sup>

Н.Г.Помяловский в 1863 г., незадолго до своей смерти, писал Александру Пылину: «Я дела хочу ... Не будет дела, не найду его, буду пить мертвым поем». <sup>4)</sup>

1) Н.Н.Страхов. «Воспоминания».

2) М.А.Скабичевский, «Литературные воспоминания», М.-Л, 1928, стр. 241-242.

3) Сборник «Шестидесятые годы», М.-Л, 1933, стр. 472.

4) Письма Н.Г.Помяловского к А.И.Пылину, «Новый мир», 1927, у

Принципиальный алкоголизм, ступивший полем ряд талантливых людей, политическая апатия, отрыв от борьбы, растущая эпидемия самоубийств — такую картину представляли собой разночинцы в период наступившей реакции. Большинство их, не видя выхода из создавшегося положения, впадает в своего рода цинизм отчаяния, целиком уходит в личные переживания, махнув рукой на общественные вопросы. Переболев и пережив эту духовную катастрофу, бывшие участники разночинского движения превращаются зачастую в обывателей.

«Правилом прогрессистов на ущербе, — вспоминал позже князь Кропоткин, — стало: «довольствуйся, что жив» или точнее «радуйся, что выжил». Вскоре они, как та безличная толпа, которая десять лет тому назад составляла силу прогрессивного движения, отказывались даже слушать «про разные сантименты». Они спешили воспользоваться богатствами, плывшими в руки «практическим людям».

После освобождения крестьян открылись новые пути к обогащению, и по ним хлынула лавная к наживе толпа. Железные дороги строились с лихорадочной поспешностью. Помещики спешили закладывать имения в только что открытых частных банках. Недавно введенные нотариусы и адвокаты получали громадные доходы. Акционерные компании росли, как грибы после дождя; их учредители богатели». <sup>1)</sup>

Впоследствии, вспоминая 60-ые годы, Сталюкович писал: «В обществе изменилось настроение. Мечтатели превра-

1) П. Кропоткин, «Записки революционера», М., 1935, стр. 156.

щались в практиков". "Стремления видоизменились; более пылкие служители сошли со сцены; более уживчивые успокоились, а большинство поплыло за волной, выкатившей несметное количество концессионеров, судей, журналистов, адвокатов, директоров, сыроваров, обрусителей, словом - всевозможных деятелей, сотворивших себе кумир из золотого тельца, или из выеденной скорлупки".<sup>1)</sup>

Но в среде разночинцев наблюдалась и прямо противоположная тенденция. В 1863 году, в мартовской, апрельской и майской книжках "Современника", был напечатан роман Чернышевского "Что делать?". Он имел совершенно неслыханный успех; его вынуждены были прочесть даже враги. Сам Александр Освободитель<sup>на</sup> писал на экземпляре романа "Что делать?" свой "читательский отзыв": "Руду копать". Елисейев вспоминает: "Никакой манне небесной не обрадовались бы так люди, погибавшие от голода, как обрадовались этому роману молодежь, доселе бесцельно шатавшаяся по Петербургу. (...). Начали образовываться ремесленные мастерские и другого рода артели: швейные, переплетные, слесарные, издательские и т.д."<sup>2)</sup> В столице Российской империи начали обретать плоть и кровь коммунистические мечты, возникали потребительские и производительные ассоциации, стали учащаться случаи разрыва молодых людей с реакционно настроенными родителями, фиктивные браки в целях освобождения от домашнего деспотизма и т.д. Естественно, что и консер-

1) К. М. Станюкович, "Без исхода", роман, впервые опубликованный в 1880 г.

2) Сборник "Шестидесятые годы", М.-Л., 1933, стр. 300.

ваторы и либералы, и самые равнодушные к политике обыватели восстали против знаменитого романа, клеймя его как „безправственную“ книгу, а Веру Павловну — как двоекличку. В обществе разгорались ожесточенные споры о романе Чернышевского, о теории разумного эгоизма, о теории среды, об эмансипации женщин, о спасении проституток, об ассоциациях и фальшивых паспортах, о морали.

Новая мораль стала одной из первостепенных потребностей общества. Перегоревшие в горниле цинизма постепенно усваивали буржуазную мораль, вернее, буржуазный аморализм. Революционеры исповедовали этическое кредо романа „Что делать?“ — удивительное сочетание теоретического гедонизма с практическим аскетизмом. Между этими двумя противоположными тенденциями колебалась дезориентированная и разочарованная масса разночинцев. Инерция формулы „революционеры — разночинцы“ мешает нам иногда осознать простой исторический факт, что разночинцам были органически свойственны глубокие внутренние противоречия и колебания. Героизм немногочисленных в то время борцов — одиночек порой заслоняет от нас самую суть мелкобуржуазной революционности: „неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию...“<sup>1)</sup> В атмосфере этой апатии, утраты революционной веры в период самороспуска „Земли и воли“ (первой организации под этим именем) срединная, колеблющаяся масса разночинцев искала новой морали, более „практичной“, чем

1) В.И. Ленин, „Детская болезнь „левизны“ в коммунизме“, Соч., третье издание, т. 25, стр. 18С.

у героев Чернышевского — революционеров, то более человеческой, чем у практиков разоруженного русского капитализма.

Эта потребность новых нравственных решений с необыкновенной остротой ощущалась Достоевским. Помимо общей потребности, он сам испытывал жестокие муки совести, лично переживал нравственные потрясения. В тайне от умирающей жены он встречался в Петербурге с Аполлинерией Суловой, путешествовал с ней по Западной Европе, но это стоило ему большой внутренней борьбы: Полина потребовала от него бросить умирающую жену и вступить в брак с ней — Достоевский отказался. Роман с Полиной под конец превратился для Достоевского в сложное моральное самоистязание. Его игра в рулетку и первые крупные проигрыши в момент лишения его семьи и брата приносят ему новые угрозы совести, но он заявляет в связи с этими рулеточными подвигами: «Приключения бывают разные, если б их не было, то и жить было бы скучно». <sup>1)</sup> Безрассудная жажда жизни, приключений, риска — и наряду с этим глубокая тоска, осознанная и возведенная в некий принцип. В «Зимних заметках» он объявил беспокоество и тоску Базарова признаком великого сердца, а 23 декабря 1864 года писал Тургеневу: «По моему, в «Призраках» слишком много реального. Это реальное есть тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время...» <sup>2)</sup> Достоевский все глубже разрабатывает свою антибуржуазную мораль — мораль неблагоприятия, неудовлетворенности, негармоничности.

1) Письма, т. 1, стр. 327.

2) Там же, стр. 343.

Однако в то же время постепенно складывающиеся убеждения Достоевского направлены против революционной этики Чернышевского, основанной на гедонистических теориях. Этика Достоевского является ярко антигедонистической.

Обобщая сказанное выше, необходимо выделить три основных исторических причины второго идейного кризиса Достоевского: спад революционной ситуации в России, ознакомление Достоевского с буржуазной цивилизацией Западной Европы и польское восстание 1863 года. Кризису способствовали тяжелые личные переживания писателя, связанные с его любовью к Суловой, с болезнью жены, с постепенным падением его общественной репутации. В 1859 г. Петербург встречал его как петрашевца; спустя четыре года примирительная позиция, «сидение между двух стульев», окончательно разоблачила и скомпрометировала себя. Гуманизм сорских годов был слишком отвлеченным и далеким от жизни в шестидесятые годы, и автору «Скверного анекдота» это было предельно ясно. Где же выход? Как претворить в жизнь расплывчатый этический социализм, намеченный Достоевским в «Зимних заметках»? Как перебросить мост через пропасть между мыслителем и народом?

Этот путь было очень трудно найти. Между народом и интеллигенцией не существовало общего языка: идеология русского крестьянства, насквозь монархическая и религиозная, не имела точек соприкосновения с передовой общественной мыслью. Революционеры пытались говорить народным языком, служа панхиладу по убиенным в Бездне бунтовщикам,

пропагандируя среди раскольников и привлекая их идеей свободы вероисповедания, распуская слухи о «золотой грамоте» и пытаясь поднять народ на борьбу с помощью подложных царских манифестов. Как правило, подобные попытки оставались бесплодными.

Достоевский в поисках такого максимально распространенного, универсального языка идей необходимо обратился к религии.

Это было возвращением к сибирскому периоду, к богоскитательству первого идейного кризиса. По приезде в Петербург, под влиянием революционной ситуации и огромных успехов материалистической пропаганды, писатель на время расстался с религиозными исканиями. Эти мотивы отсутствуют в его публицистике. В «Униженных и оскорбленных» религиозная патетика Ижменева намного уступает богоборческому мотиву в трагедии Белли. В «Мертвом доме» богослужение — незначительная сентиментальная сцена. В «Скверном анекдоте» писатель с величайшим неуважением трактует «тайнство брака». В утопии Достоевского (статьи в журнале «Время», «Зимние заметки о летних впечатлениях») все основано на русском общинном начале, на братской любви, но нет места церкви.

И вот теперь, где-то на исходе 1863 года, происходит новое обращение. Какой был конкретный импульс к этому? На этот вопрос мы ответить не можем. Паскаль обратился после «чудесного» спасения от смерти на мосту в Неви, но такого «чуда» нет в биографии Достоевского.

пропагандируя среди раскольников и привлекая их идеей свободы вероисповедания, распуская слухи о «золотой грамоте» и пытаясь подвигнуть народ на борьбу с помощью подложных царских манифестов. Как правило, подобные попытки оставались бесплодными.

Достоевский в поисках такого максимально распространенного, универсального языка идей необходимо обратился к религии.

Это было возвращением к сибирскому периоду, к богоскательству первого идейного кризиса. По приезде в Петербург, под влиянием революционной ситуации и огромных успехов материалистической пропаганды, писатель на время расстался с религиозными исканиями. Эти мотивы отсутствуют в его публицистике. В «Униженных и оскорбленных» религиозная патетика Ижменева намного уступает богоборческому мотиву в трагедии Нелли. В «Мертвом доме» богослужение — незначительная сентиментальная сцена. В «Скверном анекдоте» писатель с величайшим неуважением трактует «тайнство брака». В утопии Достоевского (статьи в журнале «Время», «Визитные заметки о летних впечатлениях») все основано на русском общинном начале, на братской любви, но нет места церкви.

И вот теперь, где-то на исходе 1863 года, происходит новое обращение. Какое? был конкретный импульс к этому? На этот вопрос мы ответить не можем. Паскаль обратился после «чудесного» спасения от смерти на мосту в Нефли, но такого «чуда» нет в биографии Достоевского.

Бесомненно, большее влияние на него оказали такие представители философского идеализма, как Страхов и Аполлон Григорьев, его близкие друзья. Особенно Страхов, естественник по образованию, знакомый и с материалистической философией, выглядел убедительным со своей проповедью утонченной религии в изящной философской оболочке. Известно, что Достоевский в пору их дружбы любил вести со Страховым долгие беседы на философские темы.

В 1863 г. религиозные проблемы в России приобрели особенную остроту в связи с национальной проблемой. Католицизм был провозглашен главным виновником польского восстания. Славянофилы объявили польский народ чуть ли не предателем славянства, объясняя это тем, что Польша "отравлена" католицизмом. Катков писал об "иезуитских кознях". Русская православная церковь сыграла активную роль в мобилизации мнения широких масс обывателей против Польши, пытаясь придать карательным экспедициям правительства облик "войны за веру". Вообще говоря, сближение Достоевского с идеологией славянофилов толкало его к признанию религиозной веры как основы нравственности. А поскольку он почти одновременно или даже несколько ранее пришел к убеждению, что исторический процесс определяется состоянием и развитием нравов, то отсюда логически следовал вывод, что религиозная вера является основой всех общественных установлений и человеческого общества в целом. Достоевский впоследствии стал выделять в истории религиозные движения, расколы, реформации, религиозные войны и т.д. Он стал рас-

сма­три­вать историче­ские дей­ствие как дей­ствие по пре­иму­ществу рели­гиозно-эти­ческое, при­нимая рели­гиозную оболоч­ку мас­совых дви­жений про­шло­го за их су­щность.

Все это не озна­чает, что Дос­то­евский окон­чатель­но уверовал в бога и по­кончил с мучи­выми его сомне­ниями. Но он пришел к вы­воду о не­об­хо­ди­мости идеи бога для жизни че­ловека. С чрез­вы­чай­ной пол­нотой и чет­костью ход его мыс­ли отра­жен в извест­ной и не раз уже цити­ро­вав­шейся за­писи, сде­лан­ной им у тела скон­чав­шейся Марии Дми­триевны.

Жена Дос­то­евского умерла 15 апреля 1864 года, в то время как пи­сатель ра­ботал над вто­рой частью «За­писок из подполья». На дру­гой день в своей за­пис­ной книж­ке № 2 Дос­то­евский сде­лал эту свою за­пись:

«16 апреля. Ма­ша ле­жит на столе. Уви­дусь ли с Ма­шей? Воз­ло­бить че­ловека, как са­мого себя, по за­пове­ди Хри­стовой, не­воз­мож­но. За­кон лич­ности на зем­ле свя­зывает. Я пре­пят­ствует. Один Хри­стос мог, но Хри­стос был ве­ко­веч­ный, от ве­ка иде­ал, к ко­торому стре­мится и по за­кону при­роды дол­жен стре­миться че­лове­к. Ме­жду тем, после по­яв­ле­ния Хри­ста, как иде­ала че­ловека во плоти, стало ясно, как день, что выс­очай­шее по­след­нее раз­ви­тие лич­ности име­но и дол­жно до­йти до то­го (в са­мом кон­це раз­ви­тия, в са­мом пун­кте дос­ти­же­ния це­ли), что­бы че­лове­к нашел, со­сра­дал и всей си­лой своей при­роды убе­дился, что выс­очай­шее упо­треб­ле­ние, ко­торое может сде­лать че­лове­к из своей лич­ности, из пол­ноты раз­ви­тия своего Я — это как бы уни­что­жить это Я, от­дать его це­ли­ком всем и ка­ждому, без­раз­дельно и без­за­ветно. И это ве­личай­шее сча­стье. Та­ким об­разом, за­кон Я

сливается с законом гуманизма, и в слитии оба, Я и Все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтожаясь друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели".

При достижении конечной цели жизнь должна была бы прекратиться, человеческие существа перестали бы воспроизводить свой род, так как стремление к цели посредством смены поколений стало бы уже не нужным. Но Достоевский не может примириться с мыслью о прекращении жизни: «Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая райская жизнь".

Бессмертие души здесь выводится из самого факта человеческого существования и из субъективного убеждения, что это существование имеет определенный, предзаданный смысл. Рассуждения Достоевского проникнуты духом телеологизма, т.е. идеи целесообразности мирового порядка.

Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовь в жертву свое Я людям или другому существу (Я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наследием исполнения закона, то есть

жертвой. Тут то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленной".<sup>1)</sup>

В последнем умозаключении писатель дает свою сжатую схему человеческой психики. В основе ее — противоположность между своекорыстными, эгоистическими влечениями человеческой природы ("закон личности") и моральным долгом, стремлением к идеалу ("закон гуманизма"). Достоевский считает, что страдание — результат эгоизма личности, а наказание — результат морального поведения. Это понимание прямо противоположно концепции Зигмунда Фрейда, где "принцип удовольствия", управляющий областью бессознательно-го, есть не что иное, как удовлетворение биологических потребностей, инстинктов, не знающих никакой морали.

Психологическая схема у Достоевского весьма своеобразна. "Закон личности" в наивысшем развитии, в последнем своем осуществлении должен слиться с "законом гуманизма". Таким образом, свободная воля человека в конечном счете стремится к благу, хотя в современной личности и приводит к греху. Развитие каждого индивидуума мыслится Достоевским как развитие его свободы через зло к добру. Свобода воли — необходимое условие морального развития личности.

Жизнь человечества, такого как оно есть сейчас, представляется Достоевскому непрерывным развитием, борьбой и стремлением к идеальной цели. Достижение этой цели — прекращение жизни. Таким образом, каждый человек представляет собой единство и борьбу противоположностей, контраст

1) Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В.И.Ленина, фонд В.М.Достоевского, 93.1.2.7, стр. 41-55.

материального (личного) и идеального (всеобщего). Наибольшее самоутверждение личности, полнейшая реализация ее свободы означает в то же время самопожертвование, слияние с остальным человечеством, однако это слияние есть отдаленный моральный идеал, в настоящем не достижимый.

В том настоящем, в котором мы живем, отказ от свободы, по мысли Достоевского, ведет к самоуничтожению, к гибели личности. В высших идеальных целях необходимо сохранение личности. Стремление к идеалу также является необходимостью. Человеческая психика мыслится Достоевским как поле борьбы двух необходимостей, противоположных друг другу: необходимости самоутверждения и необходимости самостречения. Коллизия двух необходимостей есть основа трагедии. Достоевский приходит в момент второго идейного кризиса к осознанию трагической раздвоенности человека.

В процитированной записи заключена в зачаточном состоянии трагическая концепция зрелого Достоевского. Иногда его метод определяют как «психологический реализм». Эта формула страдает большой неточностью. Достоевский отнюдь не является таким тонким и внимательным исследователем человеческой психики, как Стендаль или Лев Толстой. Достоевский отвергал эту формулу, говоря сам с собой в записной книжке 1830-1831 годов: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Что это значит? «При полном реализме найти в человеке человека».<sup>1)</sup> Таков, если

1) Ф. М. Достоевский, Биография, письма и заметки из записной книжки, СПб., 1833, стр. 373.

можно так выразиться, его принцип отбора материала: Достоевский выделяет в человеке идеальное начало. Он представляет нам в драматических картинах мучительное восхождение человека, его борьбу с самим собой. Достоевского интересует не непрерывное течение мысли, не эволюция личности, а катастрофические моменты внутренней борьбы. В его романах перед нами разворачивается трагедия духа, трагедия изолированной личности. Изолированная личность — порождение определенной исторической эпохи, и как бы отвлеченно, вне-исторически, ни трактовал Достоевский трагедию отдельного человека, она объективно сохраняет глубокий исторический смысл.

Быть может, до романов Достоевского существовала только одна-единственная трагедия духа: это самое гениальное творение Шекспира, „Гамлет“. Несомненно, вечный образ датского принца стоит выше образа Раскольникова; однако не следует забывать, что Шекспир воссоздает трагедию индивидуализма в титаническую эпоху Возрождения, а Достоевский — ту же трагедию индивидуализма в мещанский девятнадцатый век. Тем не менее, аналогия этими двумя образами вполне возможна и могла бы послужить темой специального исследования. Любовь Достоевского к Шекспиру была не меньшей, чем любовь к Пушкину, однако интереснейшее сопоставление Шекспира и Достоевского ни разу еще не было проведено, если не считать отдельных замечаний (например, у Л.П. Гроссмана).

Возвращаясь к сказанному выше, еще раз подчеркнем, что Достоевский не был писателем-психологом в общепринятом

смысле этого слова. Таким психологом был Лев Толстой, великий мастер анализа, фиксирующий «подробности чувства», все детали психического процесса, подвижную и текучую «диалектику души». Достоевский изображал душевные катастрофы: в его романах результат раскрывает и освещает причину, тогда как у Толстого дело обстоит прямо противоположным образом. «Найти в человеке человека» — значит найти в падшем, заблуждающемся, раздвоенном современном человеке его лучшую сторону, его стыдливо затаенную душевную сердцевину, дающую возможность морального обновления. Эту задачу можно разрешить лишь посредством трагического эксперимента, вынуждающего героя к предельному самораскрытию. В романах Толстого автор знает все, все тайные мысли и побуждения героев; в романах Достоевского автор не знает ничего, т.е. как правило авторская осведомленность не опережает читательской. Нет ни авторских характеристик героев, ни анализа их психики. Диалог, мимика, жест, исповедь, документ героя (Раскольникова, Ставрогина, Ипполита), перипетия, катастрофа — так раскрывается герой Достоевского: это средства в основном драматические. Даже подробно рассказывая предисторию братьев Карамазовых, писатель оставляет под покровом тайны самое главное — их чреватую взрывами карамазовскую натуру.

Искание «человека в человеке» необходимо ведет Достоевского к созданию исключительных и даже фантастических характеров с гигантской амплитудой моральных колебаний, с титанической борьбой противостоящих духовных сил. Психологическая фантастика Достоевского — прямое следствие

его трагической концепции человека. Сложное противоборство фантастики и реализма в его романах определяет своеобразие их читательского восприятия: первоначально сопоставление читателя, ощущение «выдуманности» изображаемых писателем явлений, но затем — потрясающее слияние с мыслью гения и ощущение величайшей правды написанных им картин.

Итак, Достоевский в момент второго идейного кризиса вырабатывает своеобразную трагическую концепцию человека, необходимо предполагающую исключительный, неожиданный и парадоксальный характер борьбы добра и зла в человеческой душе. Его трагизм нуждается в преувеличениях и фантастических сочетаниях противоположностей. В предшествующем творчестве Достоевского наблюдался только одна попытка такого рода: это «Двойник» (1846). Однако в ранней повести Достоевского трагизм и фантастика повествования непосредственно вытекают из патологического раздвоения личности героя. Картина болезни, написанная с точки зрения самого больного, не могла иметь и не имела широкого общественного звучания. Психицизм не может быть героем трагедии, и подлинно трагической могла быть только предистория болезни.

Трагический бунт личности против мира мы видим в истории Нелли, маленькой героини «Униженных и оскорбленных». Как уже говорилось в первой главе настоящей работы, бунт Нелли социально детерминирован и морально обоснован. Он воплощается в борьбу ненависти, «эгоизма страдания», против своей же собственной любви к людям. Трагедия, загнанная внешними силами внутрь страдающей личности, становится трагедией изолированной личности.

В записи от 16 апреля 1864 года трагедия личности осмыслается во всемирно-исторических масштабах и схематизируется Достоевским. Конкретную трагедию буржуазного индивидуализма он возводит в ступень почти космическую. В миллении Достоевского за годы илеяного компромисса произошло мощное накопление изменений количественного типа, новых идей, наследий, обобщений; запись от 16 апреля фиксирует огромный качественный скачок - резкое увеличение масштабовности мышления.

Аудожественная мысль Достоевского приобретает космогонический характер. Это очень ярко выразилось впоследствии в «Дневнике писателя» за 1876 год (январский выпуск, глава 1): «Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках им оставленных жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. С, как сказалося в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он все же не ятом и не ничто перед ними, что вся эта бедна таинственных чудес божиих все же выше его мысли, его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? - он обязан лишь своему лицу человеческому». <sup>1)</sup> В космогонии Достоевского прямо сопоставляется вся бесконечная, таинственная все-

1) Ф.М. Достоевский, Собр. соч., т. 11, М.-Л., 1929, стр. 146.

ленная и человеческое сознание, личность человека, осознающего свое единство «с бесконечностью бытия». Эта гуманистическая мысль русского писателя заставляет нас вспомнить знаменитые слова отца научной космогонии Иммануила Канта:

«Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо над мной и нравственный закон во мне». <sup>1)</sup> У Канта красота звездного неба противопоставляется красоте человеческого нравственного сознания. Картина космоса «как бы уничтожает все значение как животного творения», которое после недолгого пребывания в жизни должно возвратить планете, этой маленькой точке вселенной, ту материю, из которой оно возникло. Зато картина собственного «невидимого Я», созерцание своей моральной личности, возвышает достоинство человека: внутри личности нравственный закон «открывает мне жизнь, независимую от животности и даже от всего чувственного мира ...» В этом противопоставлении весьма наглядно раскрывается дуализм Канта. По образному выражению Плеханова, для Канта нравственный закон был чем-то вроде ключа, отворяющего дверь в потусторонний мир.

В приведенной цитате Достоевского идеал красоты, заключенный в душе человека, роднит его с бесконечностью бытия. Здесь идеал красоты заменяет нравственный закон Канта, и само созерцание звездного неба вызывает не мысль о бренности человеческого существования, а прямо противоположные мысли о равенстве личности миру, точнее — о равенстве ее мысли, ее сознания миру.

1) Иммануил Кант, «Критика практического разума», «Заключение», СПб, 1897.

Старый спор о кантианстве Достоевского не может быть достаточно освещен в пределах настоящей работы. Как известно, русский неокантианец И. Лапшин считал Достоевского последователем философии Канта. В наши дни этой проблеме посвятил свою выходящую, намеренно заостренную работу Я. Э. Голосовкер,<sup>1)</sup> который провозгласил образы "Братьев Карамазовых" воплощениями антиномий чистого разума, но указал на критическое отношение Достоевского к Канту. Наконец, польский исследователь Рышард Пшибыльский совсем недавно заявил, что философия Раскольникова — это своеобразная интерпретация кантовского практического разума, ведущая к уничтожению самого существа этики Канта. По мнению Пшибыльского, великий романист защищал от вторжения историзма в сферу этики как христианскую мораль, так и кантовскую этику свободного выбора.<sup>2)</sup>

Против утверждений о связи философии Достоевского с кантианством выступает В. Я. Кирпотин, заявляющий, что в философском мышлении писателя «можно найти отблеск не холодной «Критики чистого разума» Канта, а пламенеющий «Феноменологии духа» Гегеля и учений Шеллинга».<sup>3)</sup> Эмоциональная и даже несколько патетическая полемика Кирпотина изобилует противоречиями. Так, он заявляет весьма категорично, что «агностиком он (Достоевский) не был». Но одной страницей ранее сам же Кирпотин цитирует в высшей степени

1) «Достоевский и Кант», АН СССР, М., 1963.

2) Ryszard Pzybylski. «Dostojewski i przekłete problemy». Warszawa, 1964, str. 294.

3) В. Я. Кирпотин, «Особенности художественного видения мира у Достоевского», в сборнике «Писатель и жизнь», учение записки Лит. ин-та им. Горького, вып. 2, М., 1963, стр. 80-81.

характерное утверждение Достоевского: «надо изображать действительность как она есть, говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства...»<sup>1)</sup>. По мысли Кирпотица, эти слова характеризуют Достоевского как врага натурализма в искусстве, и действительно, полная цитата и сама статья «По поводу выставки» имеют такое значение. Однако в самом процитированном отрывке статьи Достоевский использует против натурализма агностический аргумент, говорит, что сущность вещей (кантова «вещь в себе») принципиально недоступна человеческому познанию. Это и есть чистейшее кантианство! Сам Кирпотиц, «неосторожно» цитируя подлинные тексты, убивает свою излюбленную идею о гегельянстве Достоевского.

Однако в таком сложном вопросе, как философские истоки мышления Достоевского, неуместно прицепляться к отдельным цитатам, выхватывать обрывки мыслей и на них строить доказательство. Решение этого вопроса должно быть предоставлено специалистам. К сожалению, мировоззрение Достоевского пока что почти не привлекает внимания советских философов. Спираясь на ряд сопоставлений текстов Достоевского с произведениями крупнейших европейских мыслителей конца XVIII - начала XIX веков, сопоставлений, которые не могут быть введены в нашу работу, мы можем сказать, что на формировании философской мысли Достоевского оказали

1) Достоевский, Собр. соч., т. XI, М.-Л., 1929, стр. 77-78.

мощное и весьма противоречивое влияние различные популяр-  
ные или художественные интерпретации французского материализма эпохи Просвещения, в особенности Вольтера и Дидро, и немецкой классической философии, в особенности Канта, Шеллинга и Шиллера. Остается интереснейшей<sup>е</sup> проблемой вопрос о влиянии Паскаля на Достоевского. Зато в наше время представляется в высшей степени неудачной попытка выдать его философию за некий вариант гегельянства. Философия Гегеля отличается ярко выраженным историзмом, что высоко ценили Маркс и Энгельс. Мышление же Достоевского, как говорит Кирпичин, аисторично. Вот самое главное противоречие в кирпичинской концепции философии Достоевского.

Но самое главное — это то, что великий русский романист не был ни деистом в духе Вольтера, ни материалистом *à la Diderot*, ни кантианцем, ни шеллингианцем: его мышление знаменует некий поворотный момент или «перерыв постепенности» в европейской философской традиции. Достоевский, несмотря на весь свой эклектичный философский багаж, отталкивается от старых систем, не примыкает ни к одной из них, не является философом в общепринятом смысле слова. Его философия, как она воплотилась в зрелых художественных произведениях, очень разнится и от официального учения христианства, от учения православной церкви: недаром византийски — изощренный Константин Леонтьев намекал на еретический характер религиозной утопии Достоевского.<sup>1)</sup>

1) К. Леонтьев, Собр. соч., том 3, М., 1912, «О всемирной любви». Леонтьев познвает религиозно-социальную утопию Достоевского при помощи евангелия и одной из речей М. П. Победоносцева.

мощное и весьма противоречивое влияние различные популяр-  
ные или художественные интерпретации французского матери-  
ализма эпохи Просвещения, в особенности Вольтера и Дидро,  
и немецкой классической философии, в особенности Канта,  
Шеллинга и Шиллера. Остается интереснейшей<sup>ей</sup> проблемой вопрос  
о влиянии Паскаля на Достоевского. Зато в наше время пред-  
ставляется в высшей степени неудачной попытка выдать его  
философию за некий вариант гегельянства. Философия Гегеля  
отличается ярко выраженным историзмом, что высоко ценили  
Маркс и Энгельс. Мышление же Достоевского, как говорит  
Кирпотиц, аисторично. Вот самое главное противоречие в кир-  
потинской концепции философии Достоевского.

Но самое главное — это то, что великий русский ро-  
манист не был ни деистом в духе Вольтера, ни материалистом  
*à la Diderot*, ни кантианцем, ни шеллингианцем: его мыс-  
ление знаменует некий поворотный момент или «перерыв пос-  
тепенности» в европейской философской традиции. Достоев-  
ский, несмотря на весь свой эклектичный философский багаж,  
отталкивается от старых систем, не примыкает ни к одной  
из них, не является философом в общепринятом смысле слова.  
Его философия, как она воплотилась в зрелых художественных  
произведениях, очень разнится и от официального учения  
христианства, от учения православной церкви: недаром визан-  
тиски — изощренный Константин Леонтьев намекал на ерети-  
ческий характер религиозной утопии Достоевского.<sup>1)</sup>

1) К. Леонтьев, Собр. соч., том 3, М., 1912, «О всемирной  
любви». Леонтьев побивает религиозно-социальную уто-  
пию Достоевского при помощи евангелия и одной из речей  
А. П. Победоносцева.

Как художник Достоевский стоит особняком в ряду современных ему писателей: эти же определяется и его философия. Все погуги эпитетов достичь той же высоты и напряжения мысли оказались тщетными. Сравнения его мысли с анти-традиционными учениями Ницше и Кьеркегора, лишь ярче подчеркивают гуманизм и веру в будущее человечества, свойственные Достоевскому, и отдельные соприкосновения его идей с ницшеанством носят формальный характер. Фридрих Ницше, страстный поклонник русского гения, сумел многое в его творчестве оценить по достоинству, но главного в Достоевском не понял или не захотел понять...

Прерывая это отступление, мы возвращаемся к проблеме кантианства Достоевского. По нашему мнению, допустимо предположить частичное и весьма ограниченное влияние Канта на мировоззрение писателя. В частности, оно сказывается в правильно подмеченной у Голосовкера (и не только у Голосовкера) антиномичности художественного мышления Достоевского. То, в отличие от Канта, антиномии его романов никогда не раскрываются как только мнимые, кажущиеся, не настоящие. Антиномии Достоевского — это психологические реальности, имеющие вечное, надвременное значение, это «проклятые вопросы» человечества.

Большой интерес для исследования проблемы «Достоевский — Кант» представляет и приведенная выше запись у гроба жены, сделанная 16 апреля 1864 года. В ней говорится, что история человечества и жизнь каждого человека направлены к слиянию эгоизма личности с идеалом самопожертвования и любви. Однако достижение столь великой цели не имеет

Как художник Достоевский стоит особняком в ряду современных ему писателей: этим же определяется и его философия. Все поутуги эпитетов достичь той же высоты и напряжения мысли оказались тщетными. Сравнения его мысли с анти-традиционными учениями Ницше и Кьеркегора, лишь ярче подчеркивают гуманизм и веру в будущее человечества, свойственные Достоевскому, и отдельные соприкосновения его идей с ницшеанством носят формальный характер. Фридрих Ницше, страстный поклонник русского гения, сумел многое в его творчестве оценить по достоинству, но главного в Достоевском не понял или не захотел понять...

Прерывая это отступление, мы возвращаемся к проблеме кантианства Достоевского. По нашему мнению, допустимо предположить частичное и весьма ограниченное влияние Канта на мировоззрение писателя. В частности, оно сказывается в правильно подмеченной у Голосовкера (и не только у Голосовкера) антиномичности художественного мышления Достоевского. Но, в отличие от Канта, антиномии его романов никогда не раскрываются как только мнимые, кажущиеся, не настоящие. Антиномии Достоевского — это психологические реальности, имеющие вечное, надвременное значение, это «проклятые вопросы» человечества.

Большой интерес для исследования проблемы «Достоевский — Кант» представляет и приведенная выше запись у гроба жены, сделанная 16 апреля 1864 года. В ней говорится, что история человечества и жизнь каждого человека направлены к слиянию эгоизма личности с идеалом самопожертвования и любви. Однако достижение столь великой цели не имеет

смысла, если после достижения цели прекращается жизнь человечества. „Следственно, есть будущая ра́зская жизнь“.

Размышления Достоевского действительно весьма напоминают ход мысли Иммануила Канта в „Критике практического разума“. По Канту, достижение высшего блага — необходимый объект воли, определяемой нравственным законом. Полная соразмерность воли с этим законом есть святость, т.е. совершенство, недостижимое ни для какого человека. А так как эта соразмерность, тем не менее, является необходимым требованием практического разума, то она может быть только в прогрессе, бесконечно идущем к этой законченной соразмерности, и „допускать таковое движение в качестве объекта нашей воли необходимо по принципам чистого практического разума“. Этот бесконечный прогресс возможен лишь при допущении продолжающегося в бесконечность существования и личности разумного существа, что называется бессмертием души. Значит, бессмертие души, как неразрывно связанное с нравственным законом, есть постулат чистого практического разума, грубо говоря — нравственная необходимость. Точно так же „нравственно необходимо допускать бытие бога“. По Канту, религия основана на нравственности. Допущение бытия бога по отношению к теоретическому разуму, говорит Кант, есть гипотеза, а по отношению к практической потребности может быть названо верой, но только чистой разумной верой, ибо только чистый разум есть источник, из которого она возникает. Так, нравственный закон через понятие высшего блага приводит к религии (Кант, ограничивая знание в пользу веры, в то же время стремился ослабить зависимость этики от веры).

Достоевский в период своего второго идейного кризиса (1863-1864 годы), очевидно, испытал известное влияние кантовских постулатов практического разума. Здесь мы говорим не о внешних, исторических и биографических факторах религиозного перерождения Достоевского, а о формах, в которых протекало это перерождение, хотя то и другое тесно связано и причину обращения Достоевского к Канту возможно искать в известной аналогии исторического развития Пруссии эпохи Фридриха Великого и России в царствование Александра Свободителя. Эта аналогия сказывается, прежде всего, в "прусском пути" развития капитализма в России, в слабости и приниженности буржуазии и т.д. Сходные причины вызвали сходные результаты в общественном сознании: отсюда и большой успех в России немецкой классической философии, в частности Канта, Шеллинга, Гегеля.

Достоевский, следуя по стопам Канта, шел от этики к религии, от утопии этической - к утопии христианской. Слияние "закона личности" с "законом гуманизма" - это как-то законченная соразмерность личной воли человека с нравственным законом; "слитие" закона личности с законом гуманизма возможно лишь при допущении будущей, загробной жизни; бесконечное движение к святости (совершенной соразмерности воли с нравственным законом) возможно лишь при допущении бессмертия души. Мы намеренно перемещаем здесь рассуждения Достоевского и Канта: так более явственно выступает их родство.

Однако при полном анализе этического развития Достоевского неизбежно бросается в глаза и разительное отли-

ние от Канта: оно состоит в необычайной конкретно-чувственной, «человеческой» насыщенности взглядов Достоевского, не выходящей соответствия в мрачном нравственном аскетизме Канта. Для русского романиста исполнение нравственного закона означает «райское наслаждение», а равновесие страдания и наслаждения означает гармонию жизни, т.е. счастье. По мнению кенигсбергского мыслителя, выполнение нравственного долга не имеет ничего общего со счастьем, т.е. счастье по сути дела, недостижимо; высшее благо — это божья слава. Достоевский идет в своем творчестве разгадку «проклятых вопросов», он мечтает о братстве и гармоническом устройстве общества, он прославляет вечное искание, чувства любви и сострадания людей друг другу, он надеется найти принцип общечеловеческого счастья или, скорее, внушает страстную веру в возможность последнего. Этика Достоевского, задолго до влияния Канта, испытала влияние утопического социализма и навсегда сохранила печать мечты и утопической веры в человечество. В 1861 году он возвещал недалекое «слитие образованности с началом народным»; через три года он превратил эту формулу в «слитие закона личности с законом гуманизма» и отнес достижение этой цели в вечную жизнь за пределами истории. Однако после записки у гроба жены последовали годы новых поисков и сомнений, так что в 1880 году, в знаменитой пушкинской речи, утопия воскресла вновь, и Константин Леонтьев сразу же отметил ее противоречие с христианством.

Несмотря на формальное родство этической системы Достоевского с этикой Канта, между ними существует непрео-

долгая пропасть. Этическое учение Достоевского испытало сильнейшее влияние не только кантовской "этики совести", но и прямо противоположное влияние антропологизма, свойственного материалистическим доктринам эпохи Просвещения и социалистическим утопиям. Таким образом, новое учение Достоевского о нравственности с самого начала строится на противоречиях.

В результате второго идейного кризиса Достоевский пришел к убеждению об этическом пути развития общества как единственно верном и все свое внимание художника сосредоточил на моральном субъекте — отдельно взятом индивидууме. Однако при этом он рассматривал человеческое существование как "великое противостояние" человека и космоса, а жизненную борьбу — как трагический бунт личности против всего мирового порядка.

В "Зимних заметках о летних впечатлениях" эгоизму западного человека, буржуа и собственника, противопоставлено краткое, любовное начало, свойственное русскому народу; в 1864 году Достоевский перенес эту антитезу в душу отдельного человека, своего нового героя — идеолога: таковым был образованный разночинец, плод западной цивилизации, привитой к русскому корню, каким считал его писатель. Противоречие эгоистического разума и сверхличного морального идеала, противоречие между Я и Все, из антитезы двух цивилизаций превращается в трагическую разорванность одной человеческой личности, порожденной этими двумя различными цивилизациями. Перед мысленным взором художника уже давно проступал за чертой черта образ трагического мыслителя, двойственного по самой своей природе; не только в резуль-

гате второго идеального класса замысел констатировался в  
«Записках из Подполья».

тате второго идейного кризиса замысел кристаллизовался в  
«Записках из Подполья».